

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



79703179

ПЕТР
АЛЕШКОВСКИЙ

старгород



KC
KING
COUNTY
LIBRARY
SYSTEM

CS

ПЕТР
АЛЕШКОВСКИЙ
Author: Aleshkovskii, P.
— Title: Stargorod. —

СТАРГОРОД

голоса из хора

МОСКВА

Издательство имени Сабашниковых

Старгород — город нарочито не великий. Стоит на Озере. Имеет химический завод, ГПЗ-4, кирпичный завод, завод сельскохозяйственного оборудования, мебельный комбинат, Кремль и множество старинных церквей и монастырей. Реставрация ведется...

Из путеводителя

Грустно! Мне заранее грустно!
Но обратимся к рассказу.

*Н. В. Гоголь.
Старосветские помещики*

**THIS BOOK CAN BE ORDERED
FROM THE "RUSSIAN HOUSE LTD."
253 FIFTH AVENUE
NEW YORK, NY 10016
TEL: (212) 685-1010**

НАД СХВАТКОЙ

Солнце высоко. Турист ходит толпой. Турист ходит парочками. Обнаженный столичный и заграничный турист, с волосатыми ногами, в заграничных шортах, в варенках-ополосках, в ярких, сексуальных майках.

Пищутин на туриста внимания не обращает. У него выходной. Он вышел на набережную. Отдохнуть. Подумать. Он много думает, а вечерами допоздна пишет. Пищутин — писатель.

Он в темно-синем бархатном костюме — Пищутин не выносит современного плебейства. Пускай у него в шкафу один костюм, но из серьезного материала — финский бархат, настоящий финский бархат из остатков театрального занавеса.

Пищутин отмечает краем глаза, как оборачиваются на него. Он знает, что его неординарная фигура привлекает внимание. Он понимает, он жалеет их — прожи-

гают жизнь, не думают о вечном. Он их прощает. Старается любить. Но это не всегда выходит. Ведь они — плебеи. Мелкие душонки. И он иногда даже плачет ночью за столом, не в силах писать — он их бичует своим пером и жалеет.

У него золотое перо, китайское — оно всех удобней для руки. А что, собственно говоря, есть великая русская литература? Она есть любовь, жалость к униженным и оскорбленным, она есть гневная отповедь мещанам и плебейам. Настоящая литература вся в прошлом — она аристократична. И задача сегодняшнего дня ее возродить. На такое не жалко и жизни. Поэтому писатель должен быть над схваткой — выше толпы.

Пищутин садится на веранде летнего кафе. Сегодня он выпьет шампанского. Но официант не подходит — он местный — вахлак, он знает Пищутина, и потому надо запастись терпением, ждать с отрешенным видом. Терпение всего главнее в жизни. Настоящий писатель всегда поначалу одинок и беден. Быть может, даже всю жизнь.

Вот когда придет слава, тогда можно будет жертвовать церкви, детским домам. Да, обязательно не забыть дать деньги Горзелентресту — ведь это просто невозможно, до чего же грязен их город. Только здесь на набережной еще следят — устраивают потемкинскую деревню перед интуристами. Стыдно. Надо будет дать им тысяч сто.

Пищутин погружается в подсчеты.

Через полчаса небрежно заказывает бутылку шампанского, шоколадку. Пьет медленно. Смакует. Шоколад прикусывает аккуратно,

перекатывает во рту вместе с глотком шампанского. Но с отрешенным видом.

Сидит, оставив руку с большим, специально отращенным ногтем на мизинце. Старается не глядеть на туриста.

Не поддаваться минуте, не расслабляться, думать — тысячи сюжетов, тысячи сюжетов в голове. Это поразительно, как же богато воображение. Как богато его воображение. Жаль, не хватит лет, чтоб все это описать. Все, что предстает ежедневно перед глазами. Но главное — работать, работать!

Сегодня отгул за субботник, завтра суббота, потом воскресенье. Сегодня он ищет сюжет, отбирает, шлифует; завтра, после рынка (надо сходить за картошкой — такова проза жизни), он засядет за рассказ, что придумает сегодня!

Но сколько сюжетов, сколько сюжетов — и все как турист: мелькают, мелькают...

Шампанское тает неумолимо, как время (отличное сравнение, обязательно запомнить!), нельзя только допивать до конца бутылки, немножко он оставит на донышке. И шоколадку не доест.

Нет, жизнь прекрасна, как надежный финский бархат — переливается блесками, полна сюжетов, и душа замирает, и жалко, всех так жалко...

— Папаша, ты что плачешь? — какой-то развязный турист склоняется над ним, но Пищутин вытирает слезы и гордо отворачивается.

— Отстань от него — это наш чайник, плановик из музея. Он всегда сюда приходит — раз в месяц, как часы: выпьет, поплачет и уй-

дет,— поясняет официант, нисколько не смущаясь, что Пищутин их слышит.

И тогда Пищутин встает, кладет на салфетку деньги — семьдесят копеек на чай — и выходит.

Он идет по набережной, он не замечает толпы. Он бормочет про себя: официант — туристы — нож — милиционер, нет, лучше отставной полковник — и он все видит — видит — все встает перед его глазами, так образно, что он не выдерживает и снова плачет.

— Опять, опять,— шепчет пораженный Пищутин,— хотел отомстить, хотел высмеять, но пожалел... Опять вместо смеха рождается трагедия...

Откуда это берется в нем? Откуда? Загадка! Он не знает. Он идет домой, не замечая туриста, толпы, спешащей с автобусной остановки по домам и в пустые магазины. Идет через весь почти город к своей блочной пятиэтажке.

У него однокомнатная квартирка. Шкаф, забитый рукописями, большая конторская тетрадь с учетом посланных в редакции рассказов, повестей, романов. Он любит порядок. Он не может унизиться и послать одну вещь дважды — потому и нужен учет. Он ведет его строго и не отчаивается.

Он не женат. Ему только пятьдесят два, и еще так много сюжетов, не написанных впереди. И Слава, Слава где-то там, вдалеке.

Как же она там играет на своей трубе?

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

— Я только на его похоронах и узнала, что двадцать лет назад он был кумиром всей школы. Танцевал на вечерах! А ведь он воевал, офицер. Представить себе не могу — он, и с военной выправкой. Школа тогда гремела, не то что теперь — тогдашние ее ученики знаешь сейчас где! Сашенька Строев плавает на торговом судне за границу — капитан, Леночка Корнева — замужем за москвичом-дипломатом, последний раз поздравила меня с днем учителя из Праги, Лешенька Степанов — секретарь парторганизации на «Кировском». А Павлик Болдин где-то в космических сферах — знаю только, что он наши «Союзы» в полет готовит. Старички не забывают — раз в десять лет съезжаются, зато сегодняшние не очень-то школу признают, да... А его я уже застала, когда он пил. Даже на уроки приходил пьяненький. Дети его

в грош не ставили — бузили на уроках. Первую жену похоронил лет десять назад — сын его теперь тоже географию преподает во второй школе. Ты его, наверное, в толпе и не заметил. А вторая жена — нет, знаешь, это свинство, я после кладбища к директору пошла, — заставила его принародно выразить ей соболезнование. Никто не удосужился — будто и нет ее. А он добрый был мужик — тихий пьяница, нет, представить себе не могу, что был кумиром всей школы. Я на похоронах впервые, наверное, задумалась: вот был человек — и нет, и ничего не изменилось. Конечно, последние годы он только благодаря заврону держался — Кирилл Георгиевич раньше в нашей школе директорствовал. Они вместе начинали. Вместе демобилизовались, вместе поступили в Ленинградский педагогический, вместе распределились. Только Кирилл Георгиевич — с партийной жилкой, а он не боец был. У меня на партбюро всегда сядет с краешка и сидит, но если порученье какое — лицо так сморщит, вздохнет, но выполнит по военному. Я ему после оставила только политинформации для учителей, но он и от них вскоре отбаярлся. Он уже тогда попивал. А я тебе по секрету скажу — Кирилл Георгиевич ведь тоже запойный. Мы с женщинами очень боялись, что он после похорон сорвется, — он только что в больнице лежал, и сердце у него ни к черту. А с географом они друзья были — настоящие фронтовые друзья. Да еще один его выпускник — Сашенька, — тот плакал. А вдова как каменная стояла. Если так подумать — что ей осталось? Детей уже не могло быть. Жили себе. И школа, конечно,

школа доконала. Нагрузка у него всегда большая была — не зарабатывать он не мог. Вторая жена — старший техник в реставрации — много ли ей там платят: вилка от ста пяти до ста двадцати. Но вот представить себе — офицер! Ой, ни за что б не поверила. И женщины на руках носили. За мои десять лет, что я в школе, я его таким не знала...

Егоршину вдруг это вспомнилось после похорон Таисии Петровны. Через двадцать лет после того географа. Бывшего офицера. Таисия Петровна в конце шестидесятых была в зените славы — дети за ней так и вились, учителя, как ни странно, тоже, хотя и тогда она преподавала историю в старших классах и была секретарем парторганизации. Конечно, сил больше было — и в походы она ходила по местам боевой славы, и на экскурсии по городу, вся выкладывалась. А викторина!.. Викторину ее «Знаешь ли ты свой край» даже по всесоюзной программе радио передавали. И в Болгарию, на Золотые пески ей первой в городе путевку вручили. Но строгая была. Умела страху на родителей нагнуть — родительский комитет сама тщательно подбирала — ради школьной пользы, конечно. И муж от нее тогда не ушел. И мать жива была — с детьми сидела. Теперь — сын служит на Севере под Мурманском на подлодке, дочь дважды мама, живет с мужем около химзавода — он у нее старший инженер в нитрофоске. На похоронах они были всей семьей. Из РУНО пришли и из райкома, вот только нынешние учителя все чужие — он один из ее выпуск-

ников в школе остался. Да и умерла она как-то несуразно, от воспаления легких,— кто ж теперь так умирает. Мрачные, словом, похороны получились. Излишне торжественные. А все потому, что не знали ее молодой.

Егоршин сидел в пустой учительской — у него было окно. За стеной пионервожатая и молодой историк оформляли стенгазету общества «Мемориал». Он понимал, почему они не любили Таисию Петровну.

А потом — звонок — набежали дети.

— Александр Александрович, а когда сегодня репетиция?..

Егоршин вел в школе «театр самодеятельной песни».

Даже сам Турьянский, когда давал в Старгороде концерты, у них на спектакле сидел. И ему понравилось. А потом они всю ночь у Егоршиных на кухне пили водку и пели.

СМЕТАНА

Наталья Петровна Кивокурцева из тех еще Кивокурцевых, что при Алексее Михайловиче рындами служили. Но это теперь можно, а раньше — ни-ни. Никому не говорила, никто не знал, чудом пронесло. Да и кому вроде она нужна? Замуж не случилось — времена такие были, что пары не найти, а в Старгороде их по пальцам перечесть было можно. Отец в двадцатом умер, мать в двадцать четвертом. Что умела — французский, вышивка, рояль. Пошла в музыкальную школу, в ней до пенсии дослужила, а как без высшего образования, то вышла пенсия чуть больше колхозной. Потом, правда, дважды набавляли, и на том спасибо. И что? Были до войны Грязнины, Коробовы, Эберманны, Ширинские — сами померли кому дали, последний — Николай Николаевич Монтейфель при музее в отделе живописи служил, в шестидесятых

схоронила. Дети его по столицам — выучились. Были и сослуживцы, но тоже — кто помер, кто забыл. Одна.

Привыкла так. С этими, что на лавочке сидят — не разговаривает, не о чем. И они привыкли: здороваются обоюднo, и хорошо. Приходили как-то из музея, хотели картину купить — не дала; завещала после смерти забрать — одна и осталась картина, мама говорила, что итальянская. Наталье Петровне, правда, теперь и не важно какая — посмотрит на коровок, на пастушка посмотрит, на домики-башенки на горе — вспоминает. Последнее время видит плохо — по памяти угадывает.

...Музейские говорили, что в Москве открыли Дворянское собрание, теперь там даже по женской линии записывают. А это — простите, мои милые, нонсенс. Нет, дело прошлое, ну а коли в игрушки поиграть — теперь вроде б и не опасно. Но не ей. И не с ними. Глаза не видят, ноги еле ходят — стыдно, а что поделаешь, надо ходить.

Глаза и подвели. Пошла утром в обход. Сперва за скумбрией три часа стояла — кончилась перед носом. Потом за сметаной. Отстояла. Купила. Понесла домой. А около интерната глухих детей вывалился из-за забора пьяный, своротил ее в грязь, банку разбил, да еще и обругал: «Карга старая, слепая, пора тебе давно сдохнуть, сука».

И правда — пора. Пошла домой — кое-как грязь отскребла, слезы в горле комом, но крепится — Кивокурцевы не плачут, так мама говорила, когда дядю Коку забирали.

Запомнила. На всю жизнь запомнила. Учиться не пошла — не пустили по происхож-

дению, а перековыряться на завод — это увольте. Детей учила тихонечко и на пенсию — мышкой — незаметно.

Теперь вот сметану не донесла. Обидно.

Подбородок вверх, ногу прямо, мимо бабок на скамейке: «Добрый вечер!»

— Здравствуйте, здравствуйте, Наталья Петровна, где это вас так?

Не удосужилась ответить. Домой пришла, разделась. Пальто в ванную — первым делом застирать. После к столу. Но уже и есть сил нет. Чайку вскипятила, с бубликом, с конфеткой вприкуску. Музейские девочки — хорошие девочки — к ней: «Что вы помните, Наталья Петровна?»

А она: «Ничего, девочки, абсолютно ничего...»

В раковину чашку снесла, составила — руки ходуном, голова кругом. Давно сдохнуть пора, сука.

Первый раз посуду за собой не помыла.

Пошла в комнату. В кресла пала. На картинку поглядела на стене. И дома Кивокурцевых давно нет, и Гончарной, а дом Ширинских стоит. Странно...

Дворянское собрание они организовали...

— Ду-ра-ки!

Но не заплакала. Нет, не заплакала. Окле-малась потихонечку.

ЖИВОЙ КОЛОДЕЦ ПУСТЫНИ

Татьяна Златкова стояла в очереди за творогом в универсаме. Ее больно пихнули в бок, она огрызнулась, но, слава Богу, до скандала не дошло — женщина в синем драповом пальто извинилась. Татьяна вздохнула и извинилась тоже. Хочешь не хочешь — стой, творог следовало купить обязательно.

Татьяна Златкова сбежала в Старгород из Ленинграда от злой любви. Нарочно пошла в экскурсоводы — твердо знала по Эрмитажу: научный отдел — болото. Десять лет оттянула в таком. Ей хотелось свободы — ходишь, глазеешь по сторонам, рассказываешь о том, что больше всего любишь на свете, да и в просветительство она верила.

Поначалу дело пошло. Она и местный Осокин — маленький, тихоголосый, с выцветшими к сроку трем глазками, были лучшими экскурсоводами в музее.

Осокин никогда не менялся. В перерывах между группами сидел на лавочке в закутке за экскурсбюро, читал «Знание — сила» и любил подолгу обсуждать с подошедшим новые открытия ученых. Свое дело Осокин знал хорошо, но по природе был восторженный дурак — Татьяна таких мужиков терпеть не могла, да и весь его смиренный облик... Нет, она решительно не понимала, отчего экскурсбюрошные девки так его жалели и, посмеиваясь, серьезно строили планы, как его женить. С Осокиным Татьяна была строга, с девками, понятно, болтала, но пустых их чаепитий старалась избегать. Ее уважали и немного побаивались.

Татьяна то носилась без устали по городу, то, по настроению, ограничивалась одной музейной экспозицией — ей своеволие прощали, жалоб на нее не поступало — одни благодарности.

Надюшка, увезенная из Питера совсем крохой, росла в яслях, потом в детском саду и, странным образом, почти не болела. Татьяна кончала работу, забирала Надюшку из продленки, и они отправлялись домой. Читали книжки, клеили картонный город. Им было хорошо вдвоем.

Но вот началась школа. Появились болезни. Корь, свинка, скарлатина — разом в один год. А с ними бюллетени. Стало не хватать денег. Татьяна прибавила группы, старалась и... выкрутилась. Девочка летом окрепла — они ездили в Судак, к морю, и во втором классе все пошло как обычно.

Только на работе мигом, вдруг все переменялось. Как пелена с глаз спала: она возненавидела экскурсантов. За их мелочность,

невоспитанность, грубость. Особенно детей — разболтанных, невнимательных, крикливых. Раньше, верно, просто не обращала внимания, говорила тем, кто слушал; теперь как бес вселился, могла раздраженно сделать замечание, могла даже накричать. Да и устала она — одного отпуска за прошлый год было явно недостаточно.

Что-то исчезло. Враз приелось. Надоело в один и тот же час вставать на работу, идти... С непониманием, граничащим с завистью, провожала теперь взглядом Осокина — смиренного старгородского барашка. Тот по-прежнему ничего не замечал вокруг. Как это ему удавалось? Нет, никакой абсолютно жалости она к нему не испытывала — скорее брезгливость.

Известно было, что Осокин вставал рано и до работы обходил слободу, где жил в частном домишке со стариками родителями, раскидывал по углам крошки воробьям и каждой уже поджидавшей трущобной кошке выкладывал то косточку, то рыбы объедки, то кусочек сала или даже колбасы. Словно в магазинах ничего не изменилось.

Татьяна съязвила на его счет в экскурсбюро, съязвила раз, а потом корила себя, надо было б молчать, но нет — опять надвигалось знакомое эрмитажное болото. Неумолимо. Неотступно. Девять лет ползло за ней из гнусного Питера. Наконец доползло.

И она поняла — это навсегда. До смерти. Потому что стоять в очередях гадко — перестанешь себя уважать. Потому что прибавила группы, а мясо на рынке все равно не укупить. Потому что работа стала несносна. Она даже

подумывала перевестись в отдел древнерусской живописи: тепло, светло и мухи не кусают. Так-то!

Ее подтолкнули сзади: «Женщина, берите!» Она купила творогу, и на душе полегчало: нажарит сырников — два дня можно не думать об ужине.

Зашла в школу за Надюшкой, забрала ее и по дороге, все уже проклиная, вязалась в очередь за минтаем в «Гастрономе». Стояли минут тридцать, но было гадко. Хотелось домой, в тепло, на кухню, к своей зеленой лампе. Надюшка пристроилась на батарее у окошка, пыталась читать «Приключения Гекльберри Финна», но ей это явно не удавалось.

Что-то она задумала. Что-то затаила. Так и сказала при встрече: «Мам, я, знаешь, сюрприз приготовила». И сейчас все ерзала — не терпелось ей домой.

Дома сперва было не до сюрпризов: пока разогрела ужин, пока умылись, сели за стол. На тарелке лежала школьная тетрадка. Татьяна заметила, что дочь даже зажмурилась, когда она ее открыла.

Фломастером написанный заголовок: «Сочинение на тему: «За что я люблю свою маму». Немудреное. Наивное. Тысячу раз читаное-писаное когда-то.

Все стало ясно. Они обнялись, и сырники на плите подгорели. Но Татьяна нажарила новых. Открыла банку сгущенки. Устроила пир. Сидели, пили чай с сырниками, заедали сгущенкой, смотрели «Спокойной ночи, малыши!»

Потом Татьяна мыла Надюшку. Потом укладывала спать и читала ей перед сном «Гекльберри Финна». Против своей установки —

вообще-то девочка сама себе читала. Но они устроили праздник — один раз можно.

Перед сном заплела косу, реденькую уже, как крысиный хвост, легла в кровать, смотрела на спящую Надюшку, вспоминала сочинение. Смешно: «Моя мама самая любимая, потому что я ее очень люблю!» Но было приятно.

А ведь и она так же вела экскурсию: «Вот Спас на престоле, смотрите, какой он отрешенный, одинокий, но сильный-сильный...» Всегда одни и те же слова — главное не факты, а интонация. Меленькие такие детальки...

Она зевнула, но спать пока не хотелось.

— Да-да, интонация...

Взяла с тумбочки «Известия», пробежала глазом, прочитала:

«Факты и комментарий. Живой колодец пустыни.

Конечно, пустыня — это прежде всего пески. Барханы достигают порою высот многоэтажных домов. Но и здесь есть скудная растительность. Растут верблюжья колючка, травы... Как же добыть влагу из этих живых символов пустыни?»

Оказалось, просто. Пять-шесть полиэтиленовых пакетов размером, к примеру, метр на метр, надетых на растения, могут за световой день накопить два — два с половиной литра воды. Правда, это не вода из крана. Вкусом она скорее напоминает терпкий зеленый чай.

«...Особенно влагоносными оказались солянка ранняя и солянка южная...»

Смешно... Она попыталась представить себе эти «солянки», барханы... Символы пустыни... И в них — живительная вода. Барханы встали перед глазами, и она заснула.

На следующий день Татьяна оказалась на лавочке рядом с Осокиным. Весеннее солнышко пригревало, ветер в закуток за домом не залетал. Делать было решительно нечего. Она пересказала ему вчерашнюю статью. Осокин выслушал внимательно, хотя что-то подобное уже знал. В ответ он поведал ей о новой науке синергетике. Ни в физике, ни в математике Татьяна никогда ничего не понимала, но Осокин рассказывал так интересно, что она заслушалась.

НЕУМОЛИМАЯ ЛОГИКА

Лучик, лучик солнечный в окошечко, в дырочку, нырьк! между занавесками тюлевыми порх в зеркало, а от зеркала по комнате зайчиками: на потолок, на машинку «Ятрань», на стол, даже заскочил самому Шишмареву в глаз. Председатель жмурится, отодвигает от себя сметы, откидывается в кресле. По такой погодке вечёрку б стоять. Природа угомонилась, солнце зашло, только отблески розовые, отблески багровые, отблески фиолетовые — полутьма. Вот и налетят: фить-фить-фить — чирки реактивные, шур-шур-шур — гоголечки, чернедь, хуп-хуп-хуп — жирные крякаши. А потом лучок, ушичка, костерок, и Пал Петрович, спокойный, уравновешенный, умиротворенный Пал Петрович, и Андрей Евгеньевич, тоже пославший заботы к хренам, и анекдотец! А утром свистеть рябчику: полную трель петушком, смазанную под конец — самочкой.

— Да-а, дорогие мои...

План. Заготовки. Лыко... Егеря. Охотоведы. Сезон на носу... А где егеря? Есть егеря — ставок нету. А где взять? У Пал Петровича. Пал Петрович: мы ему охоту, он — ставочку. Но, если по правде, чихал Пал Петрович на Андрея Евгеньевича: захочет — сам возьмет. Но нет, не станет чихать — друзьяки. А унижаться? А звонить-просить-вытягивать? А Пал Петрович на работе строгий! Нехорошо. Нехорошо, очень даже противненько. А если ставочку давать откажется, значит, придется подлизываться? Логично? Вполне логично! А «Ле фоше» ружьишко Пал Петровичу доставалось? Загляденье, а не дробовичок — игрушка. Игрушечка. Сам бы таким пулял: на птичку — милое дело. Но несолидно, товарищ председатель старгородского общества охотников, несолидно. Надо потерпеть. Помрет полковник Егоров — освободится «Зауэр», поклялся, служака, завещать. «Зауэр — три кольца!» Трофейный. Еще и лучше «Ле-фошета», не хуже — эт точно. Эт хорошо. А Егоров с раком. ЦРБ его уже не берет — Вдовин повторно резать отказался. И на рябчиков, на рябóв — шагом марш! Чик-чирик!

А тут телефон венгерский, кнопочный, желтый, зараза, как рябчик: «Пи-пии-пии!»

Сразу встряхнулся, как спаниелька, трубочку бережно, что поноску к уху, доставил:

— Шишмарев слушает!

Строго так, четко. Гордится четкостью — без четкости да строгости порядку не бывать.

А на другом конце — председатель исполкома, и явно не в духе:

— Шишмарев? Шестокрылов беспокоит! Ты почему туалет не чистишь?

— Какой туалет, Савватей Иванович?

— Как эт какой, етишкина мать, ты что, с луны свалился? Мне за твой туалет перед итальяшками краснеть, а ты ваньку валяешь? За кем временный туалет на Солихе числится, за мной?

— За мной, за мной, Савватей Иванович, но экспедиция...

— Шишмарев, а Шишмарев, ты меня хорошо слышишь? Даю три дня сроку, а там — хоть руками выгребай, ясно? Экспедиция меня, етишкина мать, мало волнует, ты б лучше подивился, что председатель исполкома говном заниматься должен. Все, отбой, Шишмарев. Не выполнишь — приглашаю на ковер!

Трубочку положил, потом уже матюгнулся. Не злобно — так, как муха пролетела. Лучшего, конечно, занятия судьба не могла преподнести. Ну что за жизнь такая пошла, спрашивается? И всё — ученые! В гробу б их видал: палец покажи — по локоть отхватят. Ан не пройдет такое кино — уберут, никуда не денутся!

Ручки потер, хихикнул даже, пиджак накинул, в зеркало погляделся, галстук поправил, взял со вздохом папочку — для солидности. Вышел на крыльцо.

А всё почему? Как чуял — не хотел в палаты Сырцовские въезжать. Отбояривался. Но перевели, принудили. Временно. Уже десятый год идет. Памятник ар-хи-тек-ту-ры! Отопление дровяное — раз! Егерскую ставку золотую отдай истопнику — два! Туалет построил ше-

стичковый — загляденье, а не конструкция — моща! Три! Но ведь всякая сволочь, что на Солиху с экскурсией заворачивает, норовит сюда, к Шишмареву, к Шишмареву!

«За мной, что ль, числится?» — передразнил. Взял бы да и построил общественный. Эх, Рассея ты, Рассея...

Но — сам виноват. Сам пустил. А как откажешь? Профессора Колдина кто ж по старгородскому радио не слышал, кто ж его, заразу, по ЦТ не видел — фигура... Пошел, напросился: «Мы тут у вас под боком раскопки закладываем...»

Раскопки... Не год, не два ямища простоит, эт ясно. Транспортер. Школьников там целый муравейник — приказом согнали. Сарай, лаборатории, навес от дождя. Отгородились сеткой железной — достопримечательность!

Но... — надо! Дело ясное — история! Историю Шишмарев уважает.

Толкнул калитку, вошел к ним на территорию. Носом потянул — точно! Пахнет! Хоть бы двери закрыли на такой жаре! Уберут, как миленькие уберут — вон у них сколько ребятшек в яме возится, и каждому плати. Чего-чего, а денег тут не жалеют, эт ясно! Ежу понятно!

Представился студентке — сидит за столом, книжечку красненькую читает. Попросил профессора. Глянула так недовольно — от дела ее оторвал, но поднялась.

— Пожалуйста, подождите минуточку, Петр Григорьевич сейчас поднимается.

И, правда, Петр Григорьевич уже поднимается. Аккуратно ноженьками по трапу: топ-топ-топ, крепко ставит на прочную сосновую

доску — трапы из соток сколочены. Потирает ручки, спешит к Шишмареву. Улыбается, а глаз не разглядеть за темными очками. Жара, эт понятно.

Похоже, выгорит. Выгорит! В настроенье профессор.

— Андрей Евгеньевич, любезнейший, чем обязан?

Немного старомодно, но Шишмареву даже очень приятно такое обращение.

— Дела или так, решили заглянуть по соседству?

— Да, знаете, дела, так-то все не успеваю — работа...

— Прекрасно вас понимаю — к открытию готовитесь? Я ведь, знаете, в былые годы очень любил с ружьишком побаловаться. Ну, коли дела, извольте, я вас слушаю. Но нет, нет, не здесь, проходите в лабораторию — там никто не помешает. Наденька, — это профессор студентке, — проследите, чтобы сруб был нанесен на чертеж аккуратно, я проверю. Да, меня ни для кого нет — нам, как я понимаю, предстоит обсудить дело чрезвычайной важности. Государственное дело, вы понимаете, Наденька?

Четко у него, отмечает Шишмарев, и с юмором. Нет, точно, выгорит.

Они проходят в клетушку, Наденька смотрит им вслед, опять утыкается в книжку.

В лаборатории старый потасканный диван у стены, стол на козлах, неоструганная лавка, полочки по стенам. Профессор упокаивает свое пухлое тельце на диван, Андрей Евгеньевич пристраивается на лавке, папочку кладет на стол.

- Итак, я вас внимательно слушаю.
- Очков, зараза, не снимает. Шишмарев — быка за рога — начинает с главного:
- Мне сегодня звонил Шестокрылов...
- Так-так, мы с Савватеем Ивановичем давние знакомые.
- Словом, туалет у нас один, так?
- Так-так, Андрей Евгеньевич, да вы не горячитесь, я слушаю.
- Вот я и говорю — туалет у нас один, а вас вон сколько. Туалет, значит, переполнен, а иностранцы видят. Нехорошо выходит, Петр Григорьевич, надо б убрать.
- Очень вас понимаю и полностью согласен. Я, заметьте, тоже всеми руками — за. Я-то этим туалетом не пользуюсь — несолидно как-то, но антисанитария полная, того гляди, СЭС прижучит. Совершенно с вами согласен, так за чем дело стало?
- То есть как? — кажется, все объяснил доходчиво.— У вас, значит, сколько народу, аж в глазах рябит, а у нас сколько? А машина, знаете, рублей в восемьдесят станет, придется ж левую брать, они сейчас все нарасхват.
- Знаете, Андрей Евгеньевич, я человек науки, привык доверять только цифрам, меня, знаете, эмоции как-то не убеждают. Вижу, и вы также человек дела. И чудесно. Вот вам, к примеру, скажут, что рябчик пошел на убыль, а я в воскресенье слышал — три самочки свистели, и что? Кого это убеждает? Да никого, правильно! Вот положите мне диаграмму или хотя б просчеты, сравните их с прошлыми годами, а там — изволь — выводы неоспоримые. Верно говорю?

Вот, дьявол, он еще и охотник... но Шишмарев покорно кивает.

— Итак, давайте посчитаем,— профессор пододвигается к столу, берет с полки листик, карандашик и без всякой издевки спрашивает: — Не упомните ли, когда в последний раз чистили туалет?

— Да пока вас не было, всего хватало, он пять лет стоит и никому не мешал.

— Отлично! Кладем пять лет. А в чем прикажете измерять объем содержимого?

— При чем тут содержимое, Петр Григорьевич?

— Как то есть при чем, наш с вами объект нам и мерить, верно? Древние греки наверняка бы предложили амфоры, мы с вами, поднапрягшись, могли б придумать бочки, помните, в нашем с вами детстве лошади возили? И ведра хороши, да хоть стаканы, в конце концов.

— Да зачем вам это? — шутка, кажется, несколько затянулась.

— Подождите, подождите, я же не отказываюсь от решения проблемы, надо только договориться о методике подсчета. Дело земное, человеческое, следовательно, постыдного ничего тут нет. Пожалуй, положим литры. Кстати, в вашем заведении пять бухгалтеров да еще егеря, старший охотовед, машинистка, шоферы и, наконец, вы сами — человек с двадцать пять наберется?

— Двадцать два по штату,— Шишмарев решает стоять до конца, потому рубит мрачно и кратко.

— Прекрасно, да плюс три, четыре, шесть заезжих ежедневно, а бывает и больше. Пятнадцать районов, в каждом охотоведы, егеря,

председатели, наконец — округлим до двадцати пяти в сутки.

— Ну а дальше, дальше, у вас-то...— Сам того не желая, Шишмарев включается в расчеты. Ему, признаться, противно, уже и противно, но, видно, по-иному с профессором не выйдет.

— Минуточку вашего терпения. Итак, двадцать пять крепких взрослых индивидов, склонных к высококалорийной белковой пище. Только не убеждайте меня, что лось и кабан, не говорю уж о медведях, менее питательны, нежели продающаяся в магазине мойва или минтай. Итак: двадцать пять против наших семидесяти пяти школьников и четырех студентов. Возьмем объемы...— Профессор что-то прикидывает на бумаге.

— Какие объемы, Петр Григорьевич, дело простое — есть туалет, надо его срочно вычистить...

— Я вот прикинул — приблизительно по четыре кубических метра в очке, да на шесть — двадцать четыре. Семьдесят пять школьников шестого и седьмого классов, это по табелю, а ходит не более пятидесяти пяти-шести человек. Если сравнить школьника со взрослым охотником, то, учитывая среднюю массу, получим: один к четырем. Верно? Вы же охотник, поймете — кабан и кабанчик — разница, так?

— Так, так, но...— Нет, вот вляпался!

— Никаких но. Логика — вещь неумолимая, мой милый. Итак, шестьдесят на четыре (четыре студента — два охотника) получается пятнадцать. На пятнадцать детей получается, простите, один, запятая шесть кубометров

этого самого. Не многовато за два месяца, а, Андрей Евгеньевич? Причем учтите — дети работают до обеда, тогда как у нас с вами никто восьмичасового рабочего дня не отменил.

Профессор вытирает лоб платочком — даже здесь, в домике, жарко.

— Ну, любезнейший, как я, убедительно? Двадцать пять и пятнадцать — это ж как дважды два. А кроме того, знаете вы, сколько наше дорогое правительство выделяет денег на всю советскую археологию на год? Миллион! Миллион — цена одного бомбардировщика средней дальности, а ведь тут на все экспедиции нашей необъятной страны плюс заработная плата рабочих, сторожей, уборщиц, моя и моих коллег. Смею вас уверить, что, заготавливая лыко, вы зарабатываете гораздо больше. А дети? Я не могу платить выше двух рублей на день. Много ли вы купите мятая или мойвы на два рубля? — Профессор встает, теснит Шишмарева к выходу: — Ну, Андрей Евгеньевич, а теперь извините — спешу на заседание.

— Да-да, я понимаю, извините, что побеспокоил...

Шишмарев сражен — такой мелочный, а профессор! Он бежит, проклиная всю мировую археологию на свете, всех профессоров вместе взятых, профессора Колдина отдельно, себя самого! В кабинете созревает решение: он позвонит на завод, станет просить не три, а пять егерских ставок! Пал Петрович, по обыкновению, две срежет. Из трех две пойдут на реальных людей, а третья на ассенизатора, на сторожа в Пролетарке, что бесплатно (за лицензию на кабана) караулит склад с корой, но... Провалилось оно все пропадом, тысячу раз! Он

снимает желтую, ненавистную венгерскую трубочку...

Петр Григорьевич глядит вслед председателю, качает головой, по привычке потирает ручки. Снимает очки, засовывает их в нагрудный карманчик. Смотрит на часы.

— Перекур!

Студенты, уловив приказ, кричат по раскопу: «Пе-ре-кур!»

Транспортер замолкает, ребяташки бегут к навесу, к умывальникам.

— Наденька! — профессор обращается к студентке, что по-прежнему сидит за столом и читает книжку. — Наденька, я иду в музей на заседание реставрационного совета, обедать не приду. Если я не выколочу из них сто пятьдесят рублей на ремонт транспортера, в следующем году придется носить на носилках.

Он дотрагивается до кармашка с очками, выходит на улицу по направлению к кремлю. Там его ждут. Там директриса с утра тупо глядит на смету, ломает голову, как выкроить тысячу двести шестьдесят четыре рубля наличными. В Лихониных палатах протечка, залило иконы. Нужны наличные — безналичным расчетом, как известно, шабашников не заманишь.

...Над раскопом — Наденька, сидит за столиком, читает. Опять принимается тарыхтеть транспортер. Жарит солнце. Она читает самиздатский перевод — толстую, в ледериновой красной обложке, книгу. Она читает: «Реальное различие между человеком и ангелом заключается совсем не в том, что человек обладает телом, а ангел — бестелесен; правомочно лишь сравнение души ангела с человеческой

душой. Душа человека невероятно сложна, это целый мир, состоящий из различных сущностей, в то время как ангел — единичная сущность и в этом смысле существо одномерное. Кроме того, из-за своей многогранности, способности содержать в себе противоречащие друг другу начала и из-за главного дара — Божественной искры, составляющей внутреннюю силу души, которая и делает его человеком, — из-за всего этого человек обладает способностью проводить различие между вещами, отличать добро от зла. Человек может подняться на великие высоты, но может и отступить с прочно занятых, казалось бы, рубежей. Ничего из этого не дано ангелу. По своей внутренней сущности ангел навсегда остается неизменным».

— Надежда! Ты пойдешь, наконец, работать, мы тут совсем запарились.

Наденька отрывается от книги, но смотрит не вниз — вверх, в чистое, далекое августовское небо, бормочет стихи:

Бойся в час полуденный выйти на дорогу,
В этот час уходят ангелы помолиться Богу...

Снова клюет носом в самодельный перевод в красной ледериновой обложке.

Жарко, очень жарко печет полуденное старгородское солнце. Едва заметный ветерок доносит отчетливый запах сортира. Кто-то из ребятишек опять забыл закрыть дверцу.

Наденька читает...

ОТЕЦ И ДОЧЬ

(современная сказка)

Самоходки хлюпают по реке, везут в город песок, тяжелые и неспешные. Солнце только занимается, и ветерок едва-едва — вете-ро-че-чек. И Катюшка-девчушка шлеп-шлеп — босиком по песку: купальничек красный с белой косой полосой, кооператорский, простыня махровая голубая на плечах с цаплей, китайская. Идет-бредет Катюшка-девчушка, под ноги глядит — спешить ей вроде как некуда.

Папа вечером запер снаружи на ключ в мастерской, как когда-то запирали ее в детстве. Вроде это у них игра такая. Но в том-то и дело, что время их игр давно прошло. Обещал папа скоро прийти, но не пришел — ночевал у Светки. Для того и запер, чтоб не застучала. Но как ни скрывай, Катюшка-девчушка все знает.

Проснулась она раньше обычного: папы нет — все ясно. И так писать захотелось, что пришлось

вылезать через окошко. Это не впервой, это ничего б — обидно, что закрыл, не пришел. А если подумать, и это не главное. Беда у нее. Матери сказать — страшно. Хотела папке, а он у Светки ночевал. Одно дело — не знать — догадываться, другое — когда в открытую. Так вот.

Все художники гуляют, кто ж не знает — мастерские на отшибе, за городом, в монастыре — жены сюда не ездят. Они с мамой только в субботу и воскресенье допускались. А так папа на неделе заезжал, завозил еды-колбасы, денег маме — Катюшка-девчушка привыкла: папа работает! Зато в субботу папа в мастерской ее уложит, расскажет страшную сказку, закроет на замок, «чтоб не украли», а сам с мамой уходит в гости за стенку — к дяде Косте, к дяде Сереже, у кого, в общем, гуляют. А она спит.

Так было.

Потом в одно воскресенье, давно уже, днем, сидели, ели уху. Вдруг вбегает тетя с мальчиком и на папу кричать. Мама Катюшку скорей за дверь и на улицу, но она услышала, как мальчик той тети папу тоже папой назвал. Так и узнала. После только привыкла — мама же привыкла. Всякое бывает.

Папа хуже не стал, как заходил раз-два в неделю, так и заходит. Сказки давно не рассказывает, но Катюшку-девчушку свою любит. Смешно, какие тут сказки — ей уже к шестнадцати — все она понимает. Зачем только Светка? Или все они такие? Докторша в школу из поликлиники приходила, вела урок «сексуальной жизни». Самой скучно было говорить, еле позевунчики в кулаки прятала. Что она такого

расскажет, что девчонки не знают? Грех-смех, море-горе.

Но из-за Светки теперь к папе не подступиться. Стыдно будет обоим: и ей, и ему. Так, значит, и уезжать не поговорив? Но страшно... как в сказке. В детстве ей всегда от той сказки страшно становилось, хоть в подушку зароешься, а все равно страшно.

Идет Катюшка-девчущка по берегу, папину сказку вспоминает.

В некотором царстве, в не нашем государстве жил купец богатой. У него жена померла, осталась дочь — пуще матери красавица. Отец, вот, отгоревал, стал на дочь заглядываться. Раз подловил с нехорошим, говорит: «Твори грех со мной!» Она и слезами изошла, и уговаривала-молила: «Нет!» — и все тут. Сотворил грех насильно, и понесла от него. А как время подошло, вызывает, приказывает на генерала-прикащика своего показать. Дочь ни в какую: «Как напраслину на невинного покажу?» Отец ей голову и снес топориком. Затворил тело в садовый склеп, сам в далекие страны уехал торговать. А генерал-прикащик идет раз по саду, слышит, цветок на склепе говорит: «Освободи меня, добрый молодец, от ноши!» Испугался, заглянул. А там дочь лежит мертва. Взял кладенец, рассек ей чрево, мальчонку-красавца вынул, а тело похоронил как следует быть. Снес царю.

— Так?

— Так!

Всё. Дознались. Того купца, как приехал, на воротах расстреляли, генерал-прикащика

купцом поставили, а мальчонка-красавец и по сю пору у царя живет — у царя за пазухой вольно ж не жить!..

Катюшка-девчушка повернула, бредет уже назад к монастырю. Отдыхающие с турбазы сидят на дебаркадере, ее глазами раздевают, свистят, руками зазывно машут, плятятся, словом. А она знает, что раздевают, все о себе знает, но сейчас не весело. Но грудки вперед выставила, голову задрала. В другой бы раз им ответила: «Барбосы вы херовы, что губы раскатали, не по вам кость!» В другой раз и покрасовалась бы, подразнила б их, а тут такое дело-беда, надо уезжать тихонечко. Только б отцовского взгляда не видеть виноватого, как в тот раз, когда жена его их с мамой застучала. Давно было, а не забывается.

А горе-море переплывает. Если что, девчонки помогут, вот только деньги где взять на аборт? Лешке сказала, так он сразу в кусты: «А я при чем?» Теперь и не здоровается, словно ничего не было. Хрен с ним, с Лешкой. Думала, папа поможет, а он со Светкой.

И маме нельзя говорить — ей без того хватает. Наверняка она про Светку сообразила — не зря уже месяц в монастырь не ездит. Как та жена городская первая, сидит, ждет.

Папа приезжает, деньги, еду-колбасу привозит, маму поцелует и ее, его Катюшку-девчушку, вот что и непонятно. Если б не любил, расстрелять его на воротах, но любит, факт, и маму любит, а ходит к Светке, к суке поганой.

Лешка, тот другое дело. Выпили, потраха-

лись, всего и делов, а вот — залетела. Расстрелять его за то на воротах со Светкой-сукой, а папку генерал-прикащиком. А генерал-прикащику вольно ж у мамы под крылышком не жить...

Идет Катюшка-девчушка по пляжу, простыня махровая за ней полощется на ветрочечке, как за королевой шлейф. Отдыхающие лоботрясы пальчики ей вслед облизывают, слюной горячей давятся, что пажи из-за кустов.

А она куда идет? Идет себе, милая, бредет, как баржа по реке, хлюп-хлюп по мокрому песку пятками. И пускай идет — ей ведь жить да жить: это не горе-беда, это грех-смех, то ли еще будет. А горе-море переплывет.

Глянь-ка, вон и солнце встало!

БЛАЖЕНСТВА

«...и весь живот наш Христу Богу предадим».

Собрание восклицает: «Тебе, Господи!» Нестройно, но утвердительно изглашается «Аминь!».

Дьякон сходит с амвона. С клироса, размеренно, четко, во всеуслышанье чтец возглашает возвещанные Христовым Евангелием блаженства. Молящиеся, а их немного во храме, повторяют вслед за чтецом слова Спасителя, привычно, кротко пришептывают вослед:

— Блажени нищие духом, яко тех есть царство небесное.

— Блажени плачущии, яко тии утешатся.

— Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.

Человек в сером широком плаще, озираясь, бочком входит в трапезную, встает за колонной. Смотрит вперед, ищет кого-то, но не находит. Крестит лоб вслед за рядом стоящими бабушками.

Чтец продолжает:

— Блажени алчущие и жаждущие правды, яко тии помиловани будут.

— Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.

Человек в сером незаметно поправляет на груди под плащом короткоствольный автомат, скорее даже автоматик, так миниатюрно это тупоносое изделие. Косится, но никто решительно не обращает на него внимания. Взгляд его рыщет по первым рядам старушек, но той, кого он высматривает, кажется, нет. Это плохо, очень плохо. Человек весь напряжен: вдруг опоздала, вдруг войдет сейчас, заметит? Он прислоняется к колонне, почти сливается с ней.

Чтец возглашает сердечно, спокойно:

— Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.

— Блажени изгнани правды ради, яко тех есть царствие небесное.

— Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол, на вы лжуще, Мене ради. Радуйтеся и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех...

Торжественно открываются Царские врата, как бы распахиваются на миг врата самого Царствия Небесного, и глазам собравшихся предстает сияющий престол, как селение славы Божией и верховное училище, откуда исходит познание истины и возвещается вечная жизнь.

Священник и диакон приступают к престолу, снимают с него Евангелие, несут к народу через боковую дверцу.

Спокойно, мерно выступают они на середину храма. Оба преклоняют главы. Священник молча, сосредоточенно глядит в пол, диакон,

указуя орарем, как крылом, на позлащенные Царские врата, громко испрошает:

— Благослови, владыко, святыи вход!

— Благословен вход Святых Твоих всегда, ныне и присно и во веки веков,— возглашает в ответ иерей.

И тут в толпе старушек мелькает знакомый платочек, открывается лицо — мать сосредоточенно глядит на Евангелие, крестит лоб. Нет сомнений — она!

— Слава Богу! — шепчет про себя человек в плаще.

Пришла, значит, можно беспрепятственно наведаться в чулан. Он еще раз поправляет короткоствольный автомат, словно поводит плечами, начинает медленное отступление к выходу.

— Премудрость! Про-о-о-сти! — гремит дьяконский бас.

Это последнее, что он слышит.

Теперь человек знает доподлинно: мать здесь, в церкви, и будет молиться долго. Она и его помянет в своих молитвах. Его это, в общем, не волнует, но сегодня он не отказывается и от заступничества высших сил, в которые обычно не верит.

Он сверяется с часами: отлично, все, как рассчитано — времени предостаточно. Человек смотрит на переулок — переулок пуст. Сзади? Сзади тоже никого. Отлично.

Знакомыми двориками, закоулками, минуя освещенный проспект, пробирается к большому железнодорожному барраку. Тут прошло его детство — тут он знает все ходы-выходы. Человек замирает за дровяным сараем: никого. Взбегает по лестнице — пятую и седьмую сту-

пеньки перепархивает — скрипят вот уже сколько лет. Втирается в материнскую каморку, затворяет дверцу. На всякий случай закладывает засов.

Теперь-то он дома.

Человек скидывает плащ, снимает через голову автомат, аккуратно кладет на тумбочку. Открывает чулан, отодвигает мешок с картошкой. Вот и выпиленная доска. Под ней тайник. Там, в тряпице: кобура, револьвер, горсть чудесных патрончиков. Он бережно разворачивает тряпицу, проверяет оружие, любовно открывает барабан, впечатывает патроны: шесть блестящих капсюльков, ровно шесть, он пересчитывает их с должной серьезностью. Револьвер короткоствольный, иностранный, он долго охотился за таким. В Питере ребята помогли. Молодцы ребята — эти не подводят никогда. Железо!

Человек прячет револьвер в кобуру, прилагивает ее поудобней под мышку, рядом с сердцем. Не может отказать себе в жесте: выхватывает, целится, плим! крутит револьвер на указательном, ловко кидает на место. Все будет отлично! Он им отомстит за все, за все! Смотрим на часы: до времени «Икс» он успеет.

Теперь — автомат. Чудесный, чудесный, но он заговорит после, не сегодня. И кто б мог сказать, что самоделка: маленький, компактный, стоил он, конечно, многовато, но разве жалко бумажек для дела. А Петрович — ас! Европа — «А» класс, шик-маре! Изучил чертеж (тоже доставали специально), назвал сумму, и вот — два месяца, и готово! Отлично!

Он погладил сталь, отделил рожок, разложил на тряпице. Завернул аккуратно, перетя-

нул специально принесенной резинкой, упокоил на дне тайничка. Заровнял картофельную пыль, подтянул на место мешок. Кому взбредет здесь искать? Да и не найдут — доска ничем не отличается от своих соседок — он, было дело, долго возился с тайником.

Вспомнил вдруг мать. Пускай молится, что ей, пенсионерке, еще и остается. Как там говорили: «Радуйтесь и веселитесь!» Сейчас, сейчас, держитесь, гады, а он уж порадуется, повеселится всласть — давно готовился. Все выверено до секунды.

Человек надевает плащ — чудесно: широкий, он скрывает револьвер даже лучше, чем автомат. Автоматик! Так он ласково называет его в мыслях.

Ретироваться! Через двор! И опять удача — никого нет. И начинает накрапывать дождик. И сумерки наползают.

Удача! Удача! Удача!

Человек идет теперь по центральной улице. Идет спокойно, уверенно. Плевать, что горят фонари, даже и хорошо — легче станет целиться.

Сверяется по часам — все по плану! Отлично!

Вот и парк культуры и отдыха, по-простому «Бляшка». Бляшки, кстати, уже потянулись на «Веселую горку» — на танцплощадку. Человек нагибается — завязать шнурок — и... ныряет в кусты. Кусты мокрые — дождик все моросит, но этого человек не замечает: сейчас — или никогда!

Затаив дыхание, он подбирается к посту. Ну так и есть — смена: два милиционера в плащах стоят около гаишного «москвичонка». Они

стоят к нему спиной, курят, что-то обсуждают.

В парке тихо, только случайные прохожие — основной народ на улице, течет потоком: туда-сюда — балбесы, отработали свою дармовую похлебку, жвачные животные. Грохочут грузовики.

Человек вынимает револьвер, вскидывает его, целится с двух рук, чуть присев в коленях, слегка откинув туловище.

— Псшить! Псшить! Псшить! Псшить!
Псшить! Псшить!

Черт! Зараза! Все шесть, как один. Осечки!

Неужели Витюня подсунул подмоченные?

Ну, Витюня, ну, погоди же, гад!

Теперь — быстро! Исчезнуть!

Все вычерчено! Все рассчитано!

Через парк, мимо Кремля. Спокойно. Эти два гада даже и не услышали ничего — на улице такой шум. Дать подкову, вернуться. Так. Теперь пройти спокойно мимо поста. Поглядеть.

Все в порядке — стоят и не подозревают, свиномордики. А пять минут назад... Ладно, ладно.

Нервы напряжены до предела.

Теперь смешаться с толпой, раствориться.

Сесть в автобус. Домой!

И с порога обнять ее, теплую, домашнюю, напряженную тоже, изволновавшуюся в ожидании, поцеловать в губы, прижать к себе крепко-крепко.

— Пол-лучилось?..

— Нет. Гад Витюня капсюли подсунул то ли отсыревшие, то ли они под боек не подходят. Но у него-то, у него-то в Питере как бухали!

Человек сокрушенно скидывает плащ, кобур с детским итальянским револьвером, но не бросает на пол — кладет в кресло. Все-таки штука. Да-с, скажу вам, штука — четыреста пятьдесят рубчиков плачено. Жена утешает:

— Ну, ладно, ладно, Валя, ну, успокойся, подумаешь, ерунда какая, ты считай, что получилось. Иди скорее в ванную, я блинчиков напекла с творогом и медом, как ты любишь!

Он уходит в ванную комнату, яростно плещется в раковине. Смотрит потом на себя в зеркале, оттягивает щеки, изображая ужасного гангстера. Черт с ним, в конце-то концов!

— А знаешь,— кричит он ей на кухню,— автоматик-то Петрович сделал. Загляденьице. Вот поеду в Питер на выходные — покажу ребятам, все обалдеют, даже семеновский парабеллум не потянет, а ему на «Кировском» точили.

— Ну и отлично, Валенька! — Жена уже пришла в ванную, положила ему руки на плечи.— Какой ты все-таки у меня, Валенька, мальчишка. Тридцать семь лет, а все в пистолетики играешь.

Валенька поворачивается, обхватывает ее всю: белую, ласковую, лакомую, но жена вырывается:

— Нет, нет, на кухню шагом марш, господин резидент!

— Есть, мой генерал!

Оба уплетают блинчики. Каждый думает о своем. Жена довольна тем, что не совсем безопасная игра прошла успешно, что все обошлось. В конце-то концов поедет на выходные в Питер, на дачу к ребятам, настреляется всласть. У них там общество «Следопыт». Спе-

рва играли в индейцев, теперь носятся часами по лесу: прятки с перестрелками. Чем бы ни тешились в конце-то концов, ведь надоедает всю неделю чертить эти коробки в конторе главного архитектора. А главное, давным-давно все ясно: своего не дадут, так хоть наигратъся всласть.

— Слушай! — Валенька вдруг загорается.— Знаешь, что я подумал?

— Ну?..

— Выкуплю-ка я у Семенова лук, он предлагал,— поедем с тобой в Озеро на уток охотиться. Стрелы ему сделали новые, бамбуковые, по Сеттон-Томпсону, точь-в-точь. Загляденье, а не стрелы. И всего за пятьсот рублей.

— Давай,— жена на все согласна.

— И, знаешь, поедем, разведем костерок, может, и рыбину поймаем. С ночевкой! Ночи еще не холодные. Идет?

— Идет, идет, мой Чингачгук.

— Нет, Кать, нет, ну я же серьезно.

— И я, Валенька, серьезно. Поедем на Сеньгу, на протоку, там народу мало бывает.

— А насчет денег ты не волнуйся — нам скоро премию дадут.

— А я и не волнуюсь, что́ они, эти деньги, все равно ничего не купишь.

Валенька чмокает ее в щечку, идет в комнату, включает «Время». Пока он смотрит, Катерина прибирает со стола, моет посуду. Потом приходит в комнату, садится в кресло и принимается за вязанье.

— Кать, а Кать, иди сюда,— он хлопает себя по коленке. Жена соскальзывает с кресла, усаживается поудобней, и он приникает к ее жаркой груди.

— Ну что ты у меня за прелесть! Не пойму только, за что, за что мне такое блаженство.

— И мне, и мне, мой милый,— она гладит его по голове.— Пойдем, что ли, баиньки? — говорит она наконец.

— Ага, спать так хочется. А представляешь, я все-таки переволновался: игра игрой, но где-то там щекочет. Нет, ну как взаправду.

Жена выключает телевизор.

МАШЕНЬКА

Случай этот произошел в те блаженной памяти времена, когда в магазинах «Балатон» и «Ядран» что-то можно было купить без талонов на распродажу и когда некоторые наши старгородские девушки еще ездили в Москву женихаться. Не то чтоб все так и преуспели, но некоторым повезло, а некоторым из некоторых — особенно: Маринка Кузьмина, например, проживает теперь в Детройте и пишет своим подруженькам со старгородского телеграфа душеспасительные письма о своем сыночке Кристофере и дочке Наташе.

Машенька Г., в отличие от своих активных подружек, долго отказывалась от поездок в Москву. Ей, честно говоря, противно было и подумать о принудительном замужестве, и, будучи девушкой чистой и честной, она, конечно, мечтала об интеллектуале, красивом, молодом, и... если

и богатом, то чуточку — счастье, как известно, не в деньгах. В общем, все из их книжного магазина уже неоднократно съездили, а Машенька все выжидала чего-то. Конечно, ее прельщали рассказы о московских театрах и красивых магазинах. Некоторым девочкам удавалось даже познакомиться с неплохими парнями, и в их рассказах все выглядело просто и совсем не постыдно, как может показаться некоторым ханжески настроенным ретроградим-импотентам, но... Машенька любила грезить, Машенька носила длинную косу и была немного старомодна.

Другое дело — Людка. Людка — вихрь, Людка — удачница. И стояла-то она за прилавком художественной литературы, а не в «политграмоте», как Машенька, и знакомых было у нее пол Старгорода, и... все равно — главной подругой считала она Машеньку Г. — ей всегда рассказывала первой о похождениях и кавалерах, с ней делилась планами, даже разрешение на аборт у Машеньки выпрашивала (не у родителей же, конечно). Людка ездила в Москву поразогнать тоску всех успешней, там в гостинице «Советской» (не где-нибудь) у нее имелись родственные связи (подогреваемые, впрочем, всяким книжным дефицитом), а потому хоть и дороговатый, но обеспеченный ночлег всегда у нее в Москве имелся. Да и кто ж экономит на поездках в Москву? На них, наоборот, копятя деньги специально, чтоб было потом что вспоминать!

Вот Людка-то наконец и подбила Машеньку на поездку. Девчонки запаслись обратными билетами на воскресенье (два тома Проспера Мериме в билетные кассы) и в пятницу были

у вокзала, а в субботу утром уже осматривали однокомнатные «люксы» в «Советской» (бывший «Яр», где, по свидетельству дяди Гиляя и прочих, так любили прожигать жизнь богатые российские купцы).

Световой день посвятили поездкам по магазинам. Ничего особенного купить не удалось (Машеньке нужно было зимнее пальто — на то лежали особо отложенные триста рублей в косметичке, а Людка искала кремовые австрийские сапоги), но все же по мелочам набралось — Москва она всегда встает в копеечку. Поездку завершили трапезой в ресторане «Хрустальный» на Калининском проспекте, где к ним пытались подстроиться два настырных фарцовщика, но были решительно отшиты бесстрашной Людкой. Сытые и довольные, выкатились подружки на морозный московский воздух, первый снежок только усилил настроение праздника, и, несмотря на то, что за день была потрачено сто пятьдесят рублей, решено было отправиться стрелять билеты в Большой.

Людку не пугали ни толчея, ни прибывающие автобусами иностранцы — она властно поставила Машеньку около крайней колонны, сама же вмиг испарилась — бросилась на поиски спекулянтов.

Машенька стояла около Большого театра! Что там первый бал Наташи Ростовской! Ей, конечно, так и мечталось — попасть туда, где все кружилось и мелькало, и она глядела только на дверь и не услышала вопроса, не поняла сперва, что обращаются к ней.

Он стоял с букетом чайных роз, в двубортном пальто с белым шарфом, с большой

«Сейкой», снабженной кнопочками калькулятора, на тонком запястье. Голубыми глазами, удивительно веселыми, он, откровенно оценив ее, приглашал Машеньку в театр!

— Понимаете, моя девушка не пришла — не хотите ли ее заменить?

Машенька, не раздумывая, согласилась, и он вручил ей цветы. Когда через секунду из толпы вынырнула Людка, то Людка сразу оценила, Людка кивнула одобряюще головой, подмигнула и, благословляя, проворковала: «Идите, детки, а я отправлюсь-ка домой, погоды нынче для меня нелетные». Людка была настоящая подруга!

Балет был чудесен! Театр!.. Театр был чудесен! Они сидели во втором ярусе, совсем и не высоко, а в перерыве Андрей угощал ее шампанским. Он был человек с манерами, вежливый, предупредительный, и чувствовалось, что пылкий! Он учился на философском факультете Московского университета, но не был этакой тряпкой — голландский костюмчик (где петушок на кармашке) сидел на нем как влитой, и рука была у него крепкая, что теперь редко и встретить, и голубые глаза становились иногда то пронзительными, то бездонными, но не опасными — с ним было легко!

Потом они еще выпили шампанского, Андрей прикупил бутылку «на всякий случай», и отправились на такси в гостиницу. И в такси... целовались!

Андрей оценил «Советскую», вел себя здесь непринужденно, и они поднялись на второй этаж, за углом (знаете, там, где двадцатипятирублевые «люксы»), и Машенька потащила его к Людке. У Людки закусили — предусмотрри-

тельная подруга запаслась бутербродами, пирожными и минералкой в буфете (коньяк она прихватила из Старгорода) — и долго и весело болтали. Андрей спрашивал их о Старгороде, клялся, что в следующие выходные придет в гости, записал адрес и забавлял их фокусами — показывал, что умеют его новомодные электронные часы: там был целый набор каких-то запоминающих устройств, телефонная книга, и... Господи, шампанское стреляло в голову, все было просто и легко. Когда он потянул Машеньку в номер, видит Бог — она не сопротивлялась.

Все было просто и легко, и она даже не заметила, как многозначительно подмигнула ей подруга на прощанье.

Утром Андрей поднялся рано, принял душ, оделся, присел к ней на кровать и, поцеловав, заботливо спросил: «Тебе было хорошо?»

— Конечно! — Машенька потянулась к Андрею, но он вежливо отклонил руку:

— А ты знаешь, что за все хорошее надо платить?

— Конечно, и сколько же? — подхватила игру Машенька.

— Триста рублей, овес ведь нынче дорог!

— Возьми, пожалуйста, в сумке, там как раз на пальто отложено.

Она смотрела, как он открыл сумочку, порылся в косметичке, вынул и пересчитал купюры, небрежно положил их в карман.

— Ну, чао, красавица!

И он ушел.

Людка застала Машеньку на грани умопомешательства. Это и понятно, она еще вроде бы и ждала, надеялась, что шутка кончится

как-то неожиданно, красиво, но умом понимала...

Людка сразу оценила ситуацию. Обняла наконец заревевшую в голос дуреху, насильно втокнула под душ. Затем быстро собрала вещи — ее и свои, вывела из гостиницы, и они поехали куда-то на такси и оказались в каком-то скверике, в шашлычной, где Людка наконец позволила себе расхохотаться.

— Значит, принц обвел вокруг пальца, да?

— Людка, прекрати! — Машенька порывалась вскочить и уйти, но подружка властно ее осадила.

— Дура! — она не переставала хохотать. — Гляди, дура, сюда! — И она вытащила из кармана вчерашние суперчасы с компьютером. — Я утром почему спешила — хотела ему отдать, а теперь, ой, Машка, ой, умора — часы, значит, продал. Ты слушай, мы на них тебе такое пальтецо закатим, ведь меньше шести сотен за них не дадут — я людей знаю, не бойсь!

Потом они долго гуляли по Москве, поджидая поезд, и Людка, как могла, успокаивала Машеньку и, кажется, под конец успокоила.

В поезде (Людка признавала в таких поездках только СВ) они выпили чаю с печеньем и выключили свет. И еще долго шушукались в темноте, сидели в обнимку на одном диване, и Машенька ей что-то взахлеб рассказывала счастливым голосом, и они похихикали-похихикали, а после и заснули.

ПО КАЙФУ

Санька — рыжий, а рыжим, бабка говорила, Бог помогает, если, конечно, нос не вешать. А Санька не вешает, знает, чё хочется. А отсюда какой вывод — будет Саньке удача в жизни, обязательно будет, не в Маре́ве же в колхозе погибаться. Мать, хоть и рыжая, а загубила себя, а Санька не станет. Да и мать — одно слово, рыжая — была рыжая, а теперь и не поймешь. Отца Санька в глаза не видал — как сел, так и исчез, корова его языком слизала. Ну и хрен с ним, деревенских тюрьмой не напугаешь — через дом сидят. А Санек не станет, Санек по морской части пойдет — эт факт, железка — через плечо четыре раза, и в ухо болт тому, кто сглазит, ясно! Глину месить — дураков нету, телевизор смотрели.

В Мареве название только — райцентр, один аэродром чего стоит: кукурузник садится — куры

с поля в разные стороны бегут. А автобусом до Старгорода — шесть часов: через Борки, Шалды-Бодуново, Сусло, Пазарань, чтоб они все в своих болотах потонули. Нет, Санька в «Старгородской правде» вычитал — поедет в ПТУ на электрика судовых машин учиться, а там и в море. А в море — свобода, как «Машина времени» поет: «За тех, кому светит волна, за тех, кому повезло...», да? Да! Не создан Рыжий для болотины, только если клюкву собирать, а и ну ее к бесу, клюкву ту!

У Саньки на удачу морскую якорь на запястье наколот, на правой руке, на пальцах — год: единичка, девятка, семерка и вопросительный знак — девчонки любят отгадывать. И еще имя — «Санек», чтоб сразу, значит, ясно было, с кем дело имеешь. Они в школе наколки заделали — кто что; кто — перстни, кто — имя, а кто — сердце со стрелой — на любовь с первого взгляда. Баловство, конечно, никакого это отношения к ИТЛ не имеет, просто здорово было. Тушь, правда, расплывчатая попалась — якорь здорово получился, а «Санек» — портачка — буквы немного поплыли. Ну да бывает и хуже, когда гноится, положим, совсем не в дугу, а так — очень даже и браво смотрится, по кайфу.

Якорек; между прочим, его и выручил. Как на суд везли — Морячок увидал, спросил: «Мариман?»

— Не-а... пока нет — это на удачу морскую.

Не хотелось говорить, но ответил — страшно тогда было, как там осудят.

— Да ты не бойся, — понял его Морячок, — дальше Сибири не сошлют, — хохотнул, и уже

серьезно: — У меня друг был, как ты — рыжий, теперь всё по лагерям. Ну, вали ко мне, будем по корешам, раз ты в мариманы собрался.

Под крыло, значит, взял, и вовремя, а то б Кол в шестерки записал. После суда в камеру затолкали, Кол-урка сразу пятку наставил — на пробняк: «Почеши-ка, малолеточка!» А Морячок своей кувалдой по пятке хрясь!

— Убери грязные, кент, мы с Санькой по корешам.

Кол сразу отвалил — против Морячка не с понта выступать.

Разобрались по нарам, задымили потихоньку в кулачок, завели разговор. Про баб, конечно. Но на сутках какие мужики — опойки да шелупонь вокзальная, для них все бабы — профуры. Они их и в хвост, и в гриву, но Морячок в такие разговоры не вступает — молчит. И Санек молчит — на ус мотает. У него-то все будет: вот корешок нашелся, найдется и девчонка — будет у них оно самое. У этих-то все позади — только вздох между ног, а у Саньки жизнь начинается. Главное, что из Марева слинял, а что попался — попался, с кем не случается. И с деньгами выкрутится. И любовь будет, и море — он точно знает, а за невезуху пусть невезушники базланят. Нет, Саньке повезет, потому что он — рыжий. Вот якорек-то выручил, значит — полный порядок.

Мужики наговорились, набахвалились, стали спать расплзаться. Морячок его в свой угол зазвал, бушлат под голову постелил: «Спи, Санек!» Санек и растянулся: по кайфу на бушлате! Перед сном уже шепотом рассказал ему, за что повязали.

Мать возражать не стала — все едут, пускай и Сашка счастья пытается. Дала триста рублей. До Старгорода доехать, придется, ну и на еду и фантики. Триста дала, а больше просить неудобно — не даст, нет у ней. Кто ж знал, что экзамены в ПТУ только через семнадцать дней начинаются?

Санек первым рейсом прилетел в Старгород, в семь тридцать. Послонулся-послонулся, пошел в ПТУ, документы на медкомиссию сдал, а ночевать в общагу не пустили. «Поступишь,— говорят,— дадим тебе место, а сейчас — нет. Поезжай назад в свое Мареве». А что он там забыл — сороковник на ветер бросать? Решил в гостинице пожить, опять же и по городу походить — по кайфу! — лето. Но в гостиницу не пустили. Хорошо, в мотеле на выезде дали койку, пожалела его тетка. Снял на три дня. Два тридцать в сутки, с подселением. Жил там один паренек из Питера — Филипок. Встретил Саньку по-свойски, а че, Санька везде свой в доску. «Деревня,— говорит,— приехала покорять большие просторы!» Но не зло сказал, с юмором. Клевый такой паренек — джинсы «Левис Страус», варенка с накладными кармашками, мокасы «Адидас» и майка «Монтана» — строевой. А че, Санька в Питере был на экскурсии — там такие на каждом шагу — по кайфу живут.

Пошли вечером в бар. Филя портмоне с Нефертити у Саньки взял — на сохранение, как старший, он и платил. А че — не жалко. Портвейна взяли бутылку «Ереванского», потом еще одну, по кайфу пошло! Потом танцевали. Потом фирмачей целый автобус с экскурсии прикатил. Филя сразу к фирме прилип, ну,

и Санек с ним. Филя — шурлы-мурлы — по-английски свободно волочет. Платок им зеленый с цветками толкнул. Саньку скучно стало — потянул его в бар, но куда там — их уже водой не разольешь. Потом пиво пили из баночек и водку из «Березки». Потом что-то Саньку в голову въехало — обиделся, никто на него не смотрит, пошел, в фонтанчике искупался, а иностранцы набежали, стоят кружком, хохочут. Ну, он за ними со щеткой половой и погонялся. Потом менты повязали.

Когда уводили, он Филю просил: «Филя, отдай деньги!» А тот, гад: «Какие, рыжий, деньги, ты че, сдурел, я ж тебе отдал». И вся любовь.

В вытрезвителе глядят — денег нет, паспорт есть да хулиганка — вкатили пятнадцать суток, а Морячку следом столько же — в ресторане помахался с какими-то фраерами. Так что выходить им в один день — вот и ско-решились.

Морячок объяснил: «Филя твой — фарцовщик. Но не бойсь, никуда он не денется — выйдем, поговорим по душам».

А с корешком-заступником на сутках не беда, да и мужики Саньку полюбили — рыжий, черт, проныра. Саня то, Саня се, Саня нигде не пропадет, и Кол, как его Морячок образумил, стал по-человечески.

У того любовь наметилась — Ленка-Губа, что от женского отделения полы моет. Узнала, через ментов, что у Кола пять сотен в паспорте лежат, ждут деньков свободных, подкинула записочку — признание в любви пламенной и приглашение в хату с обещанием райской жизни. В глазок поглядывает, песенки на весь

коридор ему напевает. Мужики хохочут: «Разденет она тебя, Кол, подчистую».

— А мне не привыкать, все они — профуры,— но доволен — в центре внимания.

Даже менты зашевелились — скучно им сидеть, а тут событие — Ленка-Губа влюбилась. Она ж не стесняется — всем растрезвонила. Наведались в камеру.

— Кол, а Кол, запереть тебя с Ленкой в одиночку на ночь, а?

— Запри, начальник, гад буду, сука, в отличники выбьюсь, только запри.

— Попариться захотелось, а? Хы-га-га,— ржут, кони нехолощенные. Дверью хлопнули: «Сиди, голуба, сам себе правой помогай, любовь — штука серьезная, а барышня у нас — девица завидная».

Кол в истерику: «Ненавижу сук, легавых!»

Так, в показушную, конечно, но все ж, по кайфу — актер! А мужикам — комедия за бесплатно.

Саньку, как молодого, дернули вечером бачки с ужином грузить, он письмецо походя у женской камеры обронил — Кол попросил. Менты нашли, до слез обгоготались, хором зачитывали, но Губе передали — пусть помечтает. А Ленка утром опять песни петь: «Тебя я сразу полюбила-а-а!» Ни черта не стесняется — лезет напролом, а, с другой стороны, че ей стесняться — тут ей дом родной.

Такая вот любовь.

После оправки да завтрака — развод, улицы подметат. Трое метут, Санек в командировке — бутылки сшибает. На свой страх и риск, конечно, но не опасно — надзирающего нет.

— Хотя вы все бегите,— старшина говорит,— поймаем обязательно, паспортешки же здесь лежат, и на повторку, и в одиночку.

Одиночки все боятся — без света, без тепла, без выводов — каторга.

Улицы мести — по кайфу, одно название работа — махнул два раза и стой или садись покурить. А Санек в это время стрелкой — шмыг — собрал, сдал. Купил мужикам чаю, бутылку «Имбирной», себе хлеба и сырков — на сутках по тридцать семь копеек на душу в день отпускают, да еще все отделение кормится — не разгуляешься. Нет, с Морячком жить хорошо — хуже б без него пришлось, Кол-урка загонял бы. А так — балагурит, все про свою любовь рассуждает, чифирек варит, а вся компания слушает. По кругу баночка консервная путешествует, но Саньке не дают — молод еще да не учен. Но он не обижается — наворачивает хлеб с сырками. По кайфу!

Так четыре дня бегал, на пятый по вокзалу проходил, заметил: Филя, друган, в будку к чистильщику садится. Прибежал скорей — доложил мужикам.

— Айсор — ткач — перекупщик,— пояснил Кол,— всего скорей доллара ему твой дружок спулил.

— Ну и отлично, значит, при деньгах,— это уже Морячок.— Не бойсь, Санек, будет и на нашей улице праздник.

И правда. Он же рыжий, выпала ему удача, сперва только нос повесил, когда утром в камере проснулся да как на суд дернули. Но якорек спас — Морячок заметил. Рассказывал потом про Ваську Малышева — друга детства.

Тоже рыжий был, они с Морячком в детдоме все о море мечтали. Потом попался Васек, и пошел «гуляй-Сибирь», а Санька Морячку Ваську напомнил. Хороший мужик Морячок, настоящий кореш, таких у Саньки еще не бывало.

Освободились, пошли в баню. Почистились — и напрямик в мотель. Сидит Филя в баре — поздний завтрак у него: куры гриль и кофэ с коньяком. Морячок напрямик туда, а Рыжий к домику. В мотеле домики отдельные, а номер их бывший — на первом этаже.

Дальше — дело техники, благо форточка не затворена — нырк! Тумбочку, кейс Филин, шкафчик, все обшарил — нету. А потом дотумкал — под матрасом, как же он забыл? И точно. Лежат, резиночкой перетянуты, доллары — отдельно — сто тридцать один, и портмоне с Нефертити, его, Санькино. В Питере живет, а деньги как колхозник прячет, ай да Филя. Хорошенькое местечко. В карман зачихал, заровнял все как было, три платка зеленых с цветками — последние — за пазуху и в окошко назад, нырк! И в кусты — привет бизнесменам! И на остановку, как договорились. А денег много — целый карман.

Вскоре и Морячок подошел. Тормознул тачку, дал шоферу десятку, ищи их, Филя.

В машине все рассказал.

— Я,— говорит,— в туалет его пригласил, объяснил что к чему, привет с зоны передал, он аж затрясся. Карманы вывернул, почти три сотни там оказалось. Дальше — дело техники.— Протянул руки — все костяшки кровоточат. Это,— Морячок говорит,— ерунда, бывало и хуже.

Приехали в город. Морячок сразу в ПТУ. Проследил, чтоб Санек медкомиссию прошел, отвел потом в гостиницу, сунул там администраторше, их и поселили. Пока Санек не сдал экзамены, Морячок жил в Старгороде. Днем Санек на экзаменах — вечером с Морячком в ресторане. По кайфу!

Официанты Морячка уже знали — «Стол заказан!» И с девками он просто — шить-пить и за борт — по-моряцки. Моряк любит море, свой корабль и хорошего друга. Морячок теперь Саньке друг на всю жизнь. Даже братишкой звать стал — бывает же в жизни удача!

А экзамены — одна проформа, в ПТУ всегда недобор. Поступил. Прописали в общежитии. Денег у них к тому времени осталось тысяча триста, а было почти пять — по кайфу гуляли. На триста Морячок Саньке магнитофон купил портативный и заказал подпись у гравера: «Саньке от брата на долгую память». Еще якорь заставил нарисовать. Триста на жизнь ему оставил, а остальное — себе. До Мурманска добраться хватит. И на корабль, и в море, отгулял, значит, отпуск. Вообще-то он к девочке приезжал, списывались они с ней, но та его кинула — не дождалась. Как у них не вышло, он и направился в ресторан, а там помахался — пары спустил.

Расставались — братья так не расстаются — Санька даже всплакнул, своих-то у него не было. Теперь — появился. Они фотку сделали совместную — ее Санька над кроватью приколот, рядом с «Машиной времени». А че — «Я пью до дна, за тех, кто в море!» Так? А как же!

Адресами обменялись. А на те доллары

Морячок обещал ему джинсы купить. А че, и купит — у них там специальный магазин функционирует — по кайфу!

Как Санек кончит ПТУ, отслужит, пойдет к нему на корабль электриком. И жизнь, парни, начнется, самый заништjak, потому что рыжим всегда везет, если нос не вешать, конечно.

Без Морячка, правда, скучновато стало, но Старгород не Марево — тут можно погулять. Они с пацанами на «Веселую горку» ходили в воскресенье, танцевали — атас полный, а Санька со Светкой познакомился из культ-просветучилища. Подарил ей Филин платок зеленый, последний, два других матери и бабке послал, в тот еще день.

А Светке обещал — будет любовь, ее фотку рядом с братней повесит и имя ее на левой руке наколет. А че, главное, чтоб тушь была нормальная, а так — поболит-поболит и перестанет. А есть такие, что боятся. А че бояться, че бояться, главное, чтоб все по кайфу, верно?

Они когда вчера в подъезде сухарь распи-вали, Санька такой тост сказал: «За ветер, значит, удачи, за счастье морское, глаза, что нас любят, и пену прибоя!» А Светка шепотом: «По кайфу, Санек, это ты сам сочинил?» Но Санька врать не стал, признался, что Морячок научил, и все-все про него рассказал, а Светка пообещала свою фотку завтра принести.

Вот оно — о н о с а м о е! По кайфу, по кайфу, пацаны! Вы-то как думаете, бывает такое, или это все сказки старгородские, а?

Нам, признаться, смешно. Представьте себе, случилось недавно тут встретить в Старгороде двух девчушек — студенток московского филфака. Остановились они у нас переночевать — знакомый, спасибо ему, направил с посылочкой. Привезли, как водится, колбаски без жира, три пачки индийского чаю и целый килограмм гречки. Хорошее, однако, подспорье, особенно гречка — мы ее с лучком, с чесночком, да на шкварках, и чуть-чуть маслица подсолнечного, чтоб не пригорела,— «вкуснота, кто понимает!», как наша теща выражаться изволит. Так эти, значит, самые девицы и пояснили нам, что, кроме осмотра достопримечательностей Старгорода, желают они собирать фольклор, ибо... Ну, тут такого нагородили, что сочли мы с женою за благо немедленно их отговорить, ведь какой, простите, им, бедняжкам,

фольклор в нашем городе — пропадут, заскочут куда по глупости, потом и со связями не разыщешь. Словом, направили их в Каргополь — там, доносят, и люди потише, и сказительница живет — всем желающим за десятку про Ерусалана Лазаревича напоеет — загляденье одно!

Загорелись наши девахи, купили себе билет, и почитай, больше мы их и не видели. И слава Богу, нам-то наш Старгород хорошо знаком, а они — фольклор. А так, глядишь, и курсовые напишут, и неплохие курсовые — девчонки-то умненькие и симпатичненькие, где таким по Старгороду шляться. Ну, да «на все — развитие ума требуется», как наш истопник Михаил Никанорович говаривал, царство ему небесное, золотой был старик!

Какой уж тут фольклор — ансамбль гуляров «Русская скоморошина» да лошкарки с Пролетарки «Калинушка» теперь все больше по Финляндиям да по Швециям разъезжают, дома их и не послушать. Так что фольклор весь, так сказать, истек, а историйки — историйки случаются.

Народ у нас не богатый в основной массе, кооператоры вот немного озолотились да фарцовщики от Интуриста, но те больше спустят в «Стрелецкой избе», чем заработают: нечестные денежки — их еще и удержать надо. Есть, есть, конечно, и скопидомочки, где их не бывает. Вот, рассказывал нам наш знакомец, старшина медвытрезвителя, что в Белом монастыре на горюшке — Анатолий Кретов ему имя, — знает, мол, он двух бабок в городе (это еще по старым связям с УГРО), так у них триста и пятьсот тысяч на книжках лежит. И что — живут как люди? Ничутьочки не бывало. Обе

побираются, бутылки ищут, целыми днями Парк Победы прочесывают да около бань сторожат. Живут в норках под каруселью на Веселой горке и в ус не дуют. За ними, Анатолий говорил, осуществляется негласный пригляд — родственников же нет — все в государство отойдет, а жить-то им, эх-ха-ха...

А Столбышев Матвей Семенович? Вы наверняка слышали, только не знали, как зовут да откуда он родом,— нам в Москве и Ленинграде его историю подавали уже как местную. Не удивлюсь, если и тверичи, и арзамасцы скоро начнут утверждать свое первенство, но вы им не верьте. Нам доподлинно известно: Матвей Семенович Столбышев — наш, старгородец, коренной уроженец и известнейший сумасшедший, неоднократно лечился, но был выпускаем, снова принимался за свое — собирал на помойках всякую рвань, как то: калоши, чайники сплюсненные, птичьи крылышки, газовые ключи, ватные одеяла, телогрейки мазутные, землицей сухой не брезговал, корочками хлебными плесневелыми — и все это богатство тащил к себе в конурку. Утрамбовывал до потолка, и до того дошло, что и окошко замуровал, оставил себе только проходец, чтоб раскладушку на ночь ставить. Соседи, наконец, учуяли. Принюхались — уф! ужас! Подали в суд. И по суду уже приехали с понятыми. А Матвей Семенович очень даже обрадовался: «Я,— говорит,— давно вас поджидаю. Мне,— говорит,— важно, чтоб передача происходила по закону». Приковал себя кандалами ручными к батарее, чтоб не утащили его, и заявляет: «В этой комнате ценностей больше чем на миллион. Желая все сдать, а взамен прошу

лишь комнату в доме престарелых первой категории и похороны по генеральскому разряду». Ну, иди ты с ним воюй, когда ключ-то он запрятал, да и очищать все одно — надо.

Стали выносить носилками. Тут такая пошла вонючка, что соседи и пожалели. Но ладно. Где-то посередке культурного слоя, так сказать, обнаружен был валенок с прожженным голенищем большого размера, а в нем четыреста тысяч соток и пятидесяток советскими рублями. Тут уж и полковника вызвали, деда принялись вежливо дедушкой величать.

Чистят дальше. Дошли до тахты — такая где-то в углу обнаружилась. Соседей, вестимо, по комнаткам разогнали. А там, под подкладкой, колбасочки такие, а в них — червонцы царские, счетом тысяча штук. Ну-ка прикиньте по курсу! А уж под самый конец, под половицей, сам он и показал — шкатулочка. А в ней жемчуга да камешки. Ни счету, ни описи не видали, знаем только, что много, так много, что полковника нашего в скором времени забрали в Москву на повышение. А звездочка генеральская нынче почем, это если сок-то яблочный стакан вместо обычных пятнадцати копеек тридцать три в коопторге стоит? Ну вот!

И, что важно, родные у дедушки сыскались — прямые наследники, и все в один голос: «Ничего не знаем, ни на что не претендуем!» То ли кровь там какая замешана, то ли правда по наследству от отца досталось. А отец у Матвея Семеновича при нэпе скобяную лавку держал, а сам Столбышев всю жизнь в керосинной лавке на старом базаре просидел — тоже, конечно, место, но

не жемчуг же с бриллиантами! Вот и прикиньте: нэп у нас сколько годков был? Ага! А кооперативы сколько? Ага!!! Сосчитали? Но есть, есть разница — тогда не на пустом месте открывались, да и пили, старожилы сказывали, не так лихо да и не так мрачно, что в нынешней «Стрелецкой избе», да и семга, правда, не те рублики стоила...

А откуда нам, собственно, все это известно? Да от того же Анатолия Кретова — он тогда еще только-только демобилизовался, пошел рядовым в угрозыск и на том обыске-сдаче лично присутствовал. Это после он в вытрезвитель перешел: «В розыске жизнь не по мне — слишком нервная». Ну что, можно и его понять — семья, дети, квартиру обещали. Только нервишки-то у него теперь ни в дугу — пошаливают, чуть что — в крик, и изо рта попахивает алкоголем, знаете, как у того гоголевского типчика (и тоже, наверное, объясняет вышестоящим, что с рождения).

— А можно б было под шумок стырить — на них тогда как обморок напал, особенно когда я камушки выкатил.

Но не взял — совесть не позволила. Честный оказался рядовой угрозыска Анатолий Кретов, за то и старшину дали. А про честных что рассказывать — все всё и так знают. Может, когда и про него вспомнится — интересная же душа, как любая, впрочем, ибо уникальна от рождения, но сейчас лучше о другом — о нечестном милиционере и об умной Эльзе.

Слушайте же:

Эльза Павловна Гофф в Старгороде после войны уже появилась. Где-то как-то домишкой обзавелась на Правой стороне у Копаньки, где

наши сектанты живут. Где-то как-то и сына прижила. Устроилась корректором в заводскую многотиражку, доработала до пенсии, отправила сына в армию.

Знали люди, что немка, знали даже, что с Урала или из Сибири приехала, а может и из Казахстана, издалека, в общем, но в душу не лезли, а она как есть немка — тихая, опрятная, домик хоть и покосившийся, а всегда крашен весело, и крыжовник да малина в огороде, говорят, с кулак урождаются. И цветы — такого цветника перед домом ни у кого нет: и астры тут — и простые язычковые, и трубчатые желтые, и фиолетовые, и красные, и махровые; и георгины — и «Бегси», и «Золотая звезда», и «Мерки», и «Лозунг», и «Закат» (фиолет с бледно-белым), и «Элегия», и «Станхановец», и «Светлана», и «Марианна», ну а уж горошки душистые, табаки, ноготки, настурции, анютины глазки да сирень персидская и простая — не перечеть всего. И яблоки — стволов пятнадцать: китайка, антоновка, коричное, пепин, налив золотой и белый; бросьте вдобавок дробью по забору смороду: черная — на витамин, красная — на желе, и будет, пожалуй, достаточно.

С огорода и кормилась, но приторговывала не шибко — так, на чаек-сахарок, на картошку — никто не завидовал, значит, не шибко, да и когда торговать — днем работа, а после — сын да огород. Одно слово — немка. Зависти ни у кого не вызывала, а гнаться за ней — ну к бесу. Знали, например, что рассаду или саженцы соседям забесплатно отдаст, да еще придет, покажет, как ухаживать, потому даже гордились ею перед городскими да перед

поозерскими: «Наша Эльза — умная!» Но чтоб постоять-поболтать — на это у ней времени не было: ну, да кому — поп, кому — попадья, а кому и попова дочка.

Жили-жили, а потом... Летом как-то вернулся на улицу Космодемьянскую господин. Натуральный капиталист: брючки, пиджачок — натуральный кримплен, очки в золотой оправе, ботиночки — я-те-дам — на белом каучуке и усы — усы абсолютно как у нас не носят. Походил, походил, повынюхивал чего-то и к Эльзе в калитку и просочился. Приехал, значит, двоюродный братец из ФРГ.

То, что Эльза напугана была, об этом говорить не станем. Ведь ни слуху ни духу — все позабыто, быльем поросло, и вот, все возвращается как в страшном сне: и баржа по Волге, и Казахстан... Нет, нет, нет! Но сидит же — живой, из плоти человеческой, даже упитанный очень господин, паспорт предъявляет на имя Эрика Гоффа, семейные фотографии. Даже фамилия сохранилась по мужской линии, и надо же — оказывается, он ее через Красный Крест нашел, купил билетик, турпоездочку, и — нате пожалуйста: «Дядюшка Петер помер в Бонне три года назад. В последнее время, правда, он как-то плохо себя чувствовал... с головой... да, и вспоминать начал Россию, братца Пауля вспомнил и завещал вот вас найти либо Пауля, и...» Выходит, что причитается ей — фрау Гофф Эльзе-Катарине — десять тысяч американских долларов, дядюшкин алмазный перстень, столовое серебро семейное и, главное, загородная вилла с озером и машина марки «Мерседес-230». Есть, правда, и условие — коли родные не пожелают переселиться

в Германию, то все вышеперечисленное за вычетом денег и перстня поступает в полную собственность немецких родственников. И не успела фрау Гофф возразить, как господин двоюродный брат добавил, что родственников в Германии много, и вряд ли удастся ей отсудить дом и озеро с фамильным серебром, ведь дядюшка был в последние годы не совсем здоров.

Умная Эльза радостно подписала отречение, завернула причитающиеся ей денежки в тряпицу и отнесла в комод в другую комнату, а перстень дядюшкин в ином месте запрятала, хорошо запрятала — вам не найти. Напоила родственника на дорожку кофе с бисквитом собственной выпечки, проводила до калитки и скорей в дом.

Заперлась и задумалась.

Соседям, конечно, ничего не поясняла, сказала, что случайно к ней немец заглянул, и все-то думала. И чем больше думала, — тем больше боялась. Страшное ведь дело — валюта в доме, да от заграничного немца... Но ничего не поделаешь, неделю мучалась — решилась, годы нынче не те — пошла в горбанк, предъявила справку, заверенную нотариально о дарственной, все как есть рассказала и попросила открыть ей валютный счет.

Сами понимаете, какова была реакция! Рылись, вестимо, в справочниках, звонили куда-то наверх, фолианты листали, но ничего не вылитали.

— Вам — не положено, по постановлению такому-то, от такого-то, и точка.

Пошла Эльза домой пригорюнившись, конечно. Все ей тюрьма да дорога дальняя мерещилась. И страшно одной в доме, и сыну бояз-

но писать, да и не приведи Господь его в такую историю впутывать — он тут ни при чем, у него фамилия, и имя, и отчество русские, и по-немецки он — ни слова... Правда, для НИХ это не довод...

Страшно!

И, как чуяло сердце,— пришли. То есть сперва, как и тогда: один пришел — уполномоченный КГБ старший лейтенант Сидоров. Начал-то мягко, но после, как не сознавалась, и прикрикнул даже, грозил в ее деле покопаться: «У нас все про вас записано!»

Тогда создалась Эльза — как есть: дядя умер, дядю с детского возраста не видела, куда он подевался, никто не знал, и вот теперь объявилось наследство, но она женщина умная, здесь родилась, здесь и помрет, никуда с Родины уезжать она не собирается, а потому получила отступного только десять тысяч долларов — про перстень, заметьте, не сказала,— которые как честная гражданка и поспешила сдать в банк, но ей отказали.

— Надо было нам сразу позвонить, гражданка Гофф, но коли затаили, так и ладно — нам все равно известно. Давайте здесь же и оформим сдачу, завтра я приеду, скажем... после четырех с бухгалтером. Доллары мы ваши примем под расписку, конечно, и обменяем вам их на полнокровные пять тысяч советских рублей по нынешнему курсу — пятьдесят инвалютных копеек — один доллар.

А от остального наследства правильно вы отказались — гражданке СССР собственность за границей даже и не к лицу.

Тут, видно, переиграл он — Эльза умная — почуяла подвох, знала их породу — если

подстаканники латунные забирали, где уж от машины с домом отказаться. Но виду не пода-ла, а внутри аж похолодело. Проводила гостя до калитки, отметила, что приехал он на воронке да с мигалкой, и совсем засомневалась.

Ну да Бог не оставил — забежал к ней сосед Гришка Панюшкин, одногодок ее Анд-рюшки, десятку забежал стрелнуть на бутыл-ку, а заодно и поинтересоваться, что у нее сейчас мент с «Двойки» делал.

— Какой мент, Гришка, с какой двойки?

— Тетья Эльза, за кого меня держишь? Я ж только что оттуда — два года эту рожу в проходной видал — не спутаю.

— Что за двойка, Гриша?

— Тюрьма, тетя Эльза, — городская тюрь-ма.

— Ладно, Гриша, дам тебе десятку, но ког-да ты пить бросишь?

А сама нарочно долго в кошельке роется — думает: рассказать — не рассказать? Парень он был хороший, Андрюшка его любил, толь-ко связался с ворьем, за то и погорел. Но делать нечего — других заступников не сы-скать — рассказала.

— Ну ты, тетя Эльза, даешь, значит: один к двум с половиной теперь доллар, а он — пятьдесят копеек, ой, ну и козел, и форму где-то раздобыл, ой, тетя Эльза, он же сержант вонючий, а тут вызвездился! Это ж подарок, тетя Эльза, эт, значит, денег мало ему показало, что братки за пронос платят, ой, ну дает, давай-ка мы с ним сыграем...

И договорились.

На следующий день, как условились, после четырех, к Эльзину дому подъехал газик,

из него вышел лейтенант, но один, без бухгалтера.

Вошел, сухо извинился, что бухгалтер приехать не смог, выложил на стол кейс, достал из него какие-то документы, печатку «Уплочено», разложил все аккуратненько на столе. Не забыл и пачку с банковской перевязочкой — пять тысяч.

— Ну, гражданка Гофф, давайте оформлять!

— Это точно, пора оформлять, давай, Кацо! — это уже Гришка из шкафа. А из другой комнаты соколом — Кацо — дружок Гришкин — сам со шкаф тетки Эльзин. Скрутили бедного «кагебешника», тряханули как следует, вытрясли из кармана эмведэшное удостоверение.

— Видишь, тетя Эльза, а ты боялась!

И на улицу его, голубу.

А там переполох: цыганята, Гришкой заранее подученные, народ созвали. Вытащили, значит, горе-инспектора на улицу, заголили ему одно важное место и лицом к скамейке приторочили. Под общий гул вкатили ему сотню хорошеньких — тут Гришка с Кацо постарались. После объяснили ему диспозицию, чтоб натурально молчал, иначе тюрьма — свидетели имеются, и в предостаточном количестве. Дали под зад коленом, а кейс его Гришка как «вещественное доказательство» себе забрал. Да, видно, и пять тысяч тоже.

Затем шито-крыто обменял Кацо тете Эльзе ее доллары на двадцать пять тысяч полнокровных рубликов (пять-то она тут же Гришке отдала, как договаривались) и был таков. Никто никогда его больше и не видывал.

Гришка, конечно, по городу прославился. С «Двойки», говорят, письмо ему пришло одобрительное. Лжекагебешник уволился и срочно из города укатил — проходу ему тут не стало. Даже девке из банка, что с ним гуляла, долго эту историю поминали. А умная Эльза денежки поскорей в дело пустила — поставила дом на новый фундамент, провела в него горячую воду, теплицу построила отапливаемую, гараж, купила сыну «Днепр» с коляской и магнитофон «Сони». Андрюшка, правда, как из армии пришел, на мать наорал — ведь доллар по тем временам уже один к пяти — один к семи шел, но после успокоился — Гришка ему не раз поставил «с прибытием», и они как следует на мотоцикле поколесили, с полгодика эдак. Затем Андрюшка одумался — немецкая кровь, видно, пересилила, — сдал в Политех экзамены и взялся за ум. Гришка тоже остепенился — он теперь на рынке мясо рубит.

А Эльза? На то она и умная Эльза — постаралась поскорей все деньги расстратить, тысячу только и отложила — на похороны, и три — на памятник (на срочный вклад), и живет, как и жила — припеваючи.

— Четыре тысячи пускай забирают — этого не жалко, — так она говорит соседям.

А про перстень? Откуда про перстень стало известно? Да кто тут знает наверное, но не зря ж говорят, что земля слухом полнится. Не так ли?

СТАРГОРОДСКАЯ ВЕНДЕТТА

Вл. Салимону

Все мельчает. Все абсолютно. Нет в старгородском Озере уже знаменитой в прошлом провисной плотвы, что одна оттягивала руку до коленки, нет дубравы перуновых дубов на Скиту — выдрало их с корнем налетевшим ураганом. Остался как память истерзанный огнем пень — ежегодно жгут его и сжечь не могут любители воскресной музыки и шашлыка. Не стало на нашей земле и богатырей: где хитроумный Алеша, могучерукий Добрыня, копьебранец Пересвет, озорной Соловушка, где Тарас, где Бульбенко Остап? Нет даже подобных Опанасу Перебей-Горе, попавшему к нам из уездного Градижска, в коем в гоголевские времена любой казак мог запросто доказать свое происхождение от знаменитых атаманов и полковников Запорожской сечи. Всеукраинский голод и последовавшие за ним годы разметали

остатки лихой днепровской вольницы. Семья Опанаса в числе первых освоила позабытый путь из варяг в греки, проделав его ровно наоборот, и прочно осела в нашей слободке. Отец занялся кузнечным ремеслом, а сын, благодаря гранитному кулаку, по-хохлятски музыкальной натуре и длинным белым кудрям, вмиг стал первым верховодом на Копаньке. Дружить с ним почитали за честь даже прибалтненские городские, но Опанас всех больше выделял тихого Василия Панюшкина, через неразливную дружбу с которым в конце-то концов и скончал свой героический век. Впрочем, была та смерть в некоей мере нагадана заезжей цыганкой в блаженной памяти довоенные времена.

На окрестной никольской ярмарке увидав, оценив и по мере сил одарив златокудрого богатыря, вещунья предсказала Опанасу смерть не от пули-штыка, а от обыкновенного дерева, посему, утратив всякий уже страх, наделенный недюжинной силой и сноровкой, стяжал он в последней войне славу беспощадного и неуловимого партизана. Опанас был правой рукой наводившего на фрицев ужас Ваньки Грозного, дошел позднее с регулярными частями Красной Армии до Берлина и вернулся домой — грудь в медалях, торба, полная зажигалок, серебряных ложек и знаменитых столовых ножей фирмы «Золинген», где два сцепившихся близнеца на клейме отплясывают ихний краковяк.

Погиб же сечевик под стать всей своей краткой жизни: бесшабашно, но героически. В тихий воскресный полдень энкаведэшная полуторка прибыла в копанькскую слободку за ложнооклеветанным Панюшкиным Василием.

Опанас, в ту пору уже изрядно хлебнувший браги, лежал, как водится, под цветущей антоновкой около своей кузни. Услыхав причитания Марии Панюшкиной и толком не разобравшись что к чему, а, возможно, приняв тени в небесных околышках за дьявольское полчище, Опанас Перебей-Гора поднял свой тяжелый молот и отправился громить полуденных татей. Энкаведэшники попервой опешили при виде грозного казака, даже отпустили несопротивлявшегося Василия. Грозным окриком пытались они уразуметь потомка славных малороссийских сечевиков, но что был их шип змеиный, грай вороний для партизана, принявшего изрядную меру медовой браги на грудь? Опанас ударил молотом раз, ударил второй, и два энкаведэшных байстрюка отправились в самое адово пекло. Головы их разлетелись как спелые тыквины, нечистая кровь залила многострадальную землю и отполированные до блеска хромовые сапоги. Молот поднялся по третьей — щепки брызнули от борта полуторки. Белый от ужаса юнец шофер дал по газам, и перекоsobоченная машина рванула вперед и увязла в панюшкинском заборе. Руководивший задержанием лейтенант наконец опомнился, вырвал из кобуры прославленный в песнях и кинофильмах «ТТ» и всадил всю обойму в героя-казака. Но так велика была сила Опанаса, что и пробитый насквозь, мало что уже понимающий от боли, поднял он свой молот и ударил еще раз по борту застрявшего в изгороди грузовика.

Почему сражался Опанас с неодушевленным грузовиком, с невинной как бы машиной, почему не достал в последнем броске злого

лейтенанта? Видно, урчащая, вонючая полуторка показалась ему злом реальным, видно, почувал, что не стрелявшего полубеса следует ему опасаться, а именно эту дрожащую в неистовстве своем гадину. Шофер от последнего удара подпрыгнул на жестком сиденье, с испуга дал задний ход, и... покореженные дощатые ребра колесного исполина впечатали Опанаса в ствол плакучей ивы. Так погиб казак не от пули, не от штыка-молотца, а от дерева, со всех сторон обступившего, застывшего последний кусочек вольного света. Душу его приняли ангелы Господни, телом же распорядились изверги — аки вещественное доказательство злодейского нападения исчезло оно навсегда в подвалах их здания. Исчезли и тело героя Опанаса, и его неподъемная кувалда-молот, и непосредственный виновник сражения — тишайший пчеловод Василий Панюшкин. Так сбылось предсказанье цыганки.

Случилось сие в одна тысяча девятьсот пятьдесят первом году.

Провинция наша, надо сказать, всегда отставала от центра. Даже наличие почт и телеграфа, уничтоживших стиль и желанность переписки как средства отдохновения души отменных сословий и своевременно поставляющих молнийные московские указы в отдаленные города и веси империи, даже поворот разящего клинка возмездия в начале пятидесятых на недопереселенных, сопутствующих и полицаев, не погасили в провинции застарелую ненависть к мистическому троцкистско-зиновьевскому блоку.

Арестованный по ордеру вечека на другой день после покушения на Ленина в ночь на

первое сентября 1918 года Григорий Панюшкин — простой петроградский поп, отбыл ссылку на знаменитых Соловках и, вернувшись, жить в северной столице не пожелал. Он осел в Старгороде, где, не имея возможности отправлять положенные требы, записался в копаньковский колхоз. В 41-м он ушел на войну и там бесследно сгинул. После него остался сын — вышепоименованный Василий, партизанивший на Черном берегу Озера вместе с могучим другом кузнецом Опанасом Перебей-Горой.

Исчезнувший, в свою очередь, в подвале старгородского НКВД, Василий успел тоже породить сына, которого в неведении об отце — враге народа — воспитала мать, Панюшкина Мария, вмиг и навсегда лишенная спокойствия быстрыми на решения, но долго выискивающими недобитков старгородскими органами. Интересно, что донос на Василия Панюшкина написал ветеран и инвалид Степан Кандыба, в молодости служивший в петроградской чрезвычайке и арестовывавший еще попа Григория. Приехав на пасеку поповского сына и купив по дешевке ворованного колхозного медку, ветеран и инвалид заинтересовался фамилией пасечника. За стаканом отменной браги добродушный Василий поведал постороннему неслладкую семейную историю, после чего, немедленно вспомнив и сопоставив даты, Степан Кандыба доложил о догадке своему сыну Петру Кандыбе — лейтенанту старгородского НКВД. Сын приказал отцу исправить анонимный донос по всей тогда существовавшей форме; следом, вестимо, и разыгралось вышеописанное героическое побоище в слободке.

С тех пор минуло много лет. Ветераны получили свои медали, кого-то даже разыскал долго бродивший по канцеляриям орден Красной Звезды. Молодые следопыты оформили стенд «Герои-партизаны» и вывесили его в стеклянной витрине старгородского телеграфа. Время стирает обиды, лечит раны, реабилитирует забитых и оплеванных героев. Попали на стенд и Опанас Перебей-Гора, и Василий Панюшкин. Фотографии Грозного Ивана там, конечно же, места не нашлось. К описываемому моменту могилка заколотого в горло воровской заточкой, обезножившего в послевоенных лагерях и через то прослывшего за местного юродивого Ивана уже почиталась местным населением женского пола как святыня. На нее совершали паломничества, ибо пошел слух, что старгородский юродивый от многого исцеляет. Власть тогда только переставала быть поголовно атеистически настроенной, потому фотографии Опанаса и Василия попали на самый верх стенда, претендуя как бы на должности командиров-начальников. Бабушке Маше выделили от общества «Мемориал» четверговый паек, но старушка, раз и навсегда напуганная арестом и исчезновением мужа, от пайка отказалась, под напускной гордостью скрыв глубоко засевший страх.

Лишившись предложенных жиров и колбас, она зажила совсем уж бедно и убого, тем более что сын ее Григорий умудрился связаться с дурной компанией и присел в местную тюрьму на два года. Прибыв домой, он застал старушку мать у старенького телевизора «Темп», продавленный диван, блохастую собаку и разящую пенсионерскую нищету. Навеща

сына в тюрьме, Мария поведала ему о кровавом побоище, о героическом поступке дяди Опанаса и незаконно репрессированном отце, своим рассказом вдохнув в сбившегося было с панталыку сына надежду на лучшую жизнь. Была в том разговоре упомянута и фамилия Кандыба, крепко засевшая в голову Григория. Обретя реального отца, парень решил мстить и даже подал в зоне на досрочное освобождение и, не получив его, тем не менее вышел на свободу другим человеком.

Мало видевший хорошего от людей в форме, невзлюбивший их теперь наследственно, он прославился в знаменитой истории с Эльзиным наследством — отбил свалившиеся на соседку зарубежные доллары, что вознамерился прибрать к рукам запугавший несчастную немку переодевшийся гэбэшником тюремный вертухай. Чувство мести к носящим погоны несколько притупилось в душе Григория, ибо разоблаченный мошенник был им собственноручно высечен на улице слободки при большом стечении хохочущего народа, но все же не погасло окончательно. Волна успеха сделала его человеком популярным, и нашлись добрые люди, что пристроили молодца рубить мясо в магазине на старгородском рынке — месте, вожделенном для многих, но недоступном почти никому.

Старуха Панюшкина зажила перед смертью богато — Григорий закупил мебель, ковров, приобрел цветной телевизор и видеомэагнитофон, удачно женился. Перед смертью мать успела понянчить внука, названного, естественно, Васильком. Она умерла в почете и достатке, не переставая дрожать

за высоко взлетевшего сына, вознося ежевечерние хвалы Господу, не забывшему ее, даровавшему хоть последние годочки поспать на чистых льняных простынях. Она умерла, сын похоронил ее на старгородском кладбище и поставил ей на могиле сварной крест из нержавейки.

За всем этим, признаться, он почти отказался от идеи мщения — не до того ему было, ибо работа мясника, нелегкая и нервная, не только дает, но и много отнимает душевных сил и восстанавливающих нервных клеток.

Меж тем, окончив училище МВД, в Старгород прибыл лейтенант Кандыба Степан. Так уж случилось, что кончал он школу на другой стороне Старгорода и судьба никогда не сводила его с Григорием Панюшкиным. Судьба берегла его до случая, учила, кормила, растила в семье отставного майора, после заботилась об его политической подкованности в стенах училища, после вернула в родной город, где и поставила сразу по съезде с моста на повороте к слободке.

Степан Кандыба был честен, принципиален, на лапу, подобно многим сослуживцам, не брал, а потому терпел от начальства и был проклинаем не только автолюбителями и профессионалами, но в последнее время даже и женой, старающейся тянуть семью из четырех человек на нищенские жалованья лейтенанта и секретаря-машинистки.

Знаменательная встреча состоялась в воскресный полдень. Григорий Панюшкин спешил на своей «пятерке» домой — вез из парикмахерской жену. Дома был оставлен без присмотра маленький сынишка. Григорий ехал привычно быстро, но аккуратно. При съезде с моста

он сумел затормозить, но передние колеса предательски навалились на белую «стоп-полосу».

Нарушение было подмечено, милицейский жезл указал на обочину, и перед изумленным Григорием предстал молоденький лейтенант, откозырявший и назвавшийся инспектором ГАИ Степаном Кандыбой.

Состоялся короткий диалог:

— М е н я лечить? Я тут езжу по два раза на дню и всех ребят знаю.

— Вы нарушили правила!

— Старичок, может, не надо, хуже ж будет.

— Ваши права!

— Я, конечно, дам, но ты тут, кажется, новенький... Как, говоришь, фамилия?

— Инспектор Кандыба.

Первый раунд старгородской вендетты состоялся — легкая победа досталась инспектору. В правах появилась просечка. Григорий швырнул права на колени жене и тихо, но внятно сказал: «Передай своим по цепочке привет от мясника Гришки, скажи, что мясо они теперь увидят только от дохлого осла уши».

Он отъехал, но наглости и хамства генетического противника долго не мог пережить и дома сорвал злобу на близких.

По возвращении в дежурку Степан Кандыба рассказал о происшедшем и незамедлительно получил матерную выволочку от начальства — ссориться с единственным мясным магазином в Старгороде не полагалось. Дома что-то очень нехорошее сказала ему жена. Вспыхнула ссора, в результате которой молодая Кандыба отказала мужу в ночной ласке и героически продержала его на голодном

пайке целую неделю. Вконец измученный милиционер подумывал было о выезде с фарой на трассу, но все же какое-то чувство, гордыня, что ли, пока удержало его от нарушения присяги.

В пятницу начальник Теребихин приказал заводить козелка.

— Надо, брат, мясца прикупить, поехали к Гришке на рынок.

Мясо было крайне необходимо Кандыбе. Хороший кусок мяса наверняка б задобрил жену, но, вспоминая воскресную историю, становилось не по себе. Он было зарекся заходить в магазин с начальником, но подполковник приказал следовать за ним, и... магнетизм, исходивший из мясного подвала, и исстрадавшееся без женской ласки тело пересилили.

— Ага! Пришел, голуба, сам пришел! — Гришка встретил их в комнатенке завсекцией.

— Григорию Батьковичу привет! — Начальник Теребихин либо напрочь забыл о провинности своего подчиненного, либо делал вид, что ему ничего не известно.

— Нет у меня для вас мяса!

— Гриша, Гриша, в чем дело?

— Спроси у своего лейтенанта, за что он мне просечку поставил?

Пользуясь случаем, Григорий красочно живописал, как он спешил домой, как вез жену из парикмахерской, как был остановлен и насильственно, ни за что ни про что оштрафован.

— Так он же у нас новенький, Гриша, какие проблемы? Давай свой талон. Степа — мигом!

Пока начальнику завешивали мясо, пока шли спокойно-уважительные тары-бары, Степан Кандыба мчал козла на другой конец города выправлять ненавистному мяснику новый

талон. И он выправил его, он привез, отдал из рук в руки, и... не стерпев, покраснев как мальчонка, заикаясь, спросил:

— Гриша, ну как, мир, да? Как там, мне-то мяска не перепадет?

Громко загоготал Григорий, голос его прокатился по сводам подвала, подобный рыку героического Опанаса Перебей-Гора, рыку, что нынче не встретишь в нашеньских людях.

— А пойдем, пойдем, дружок, я тебе завешу. Но имей в виду — Теребихину по трехе, а тебе будет по пять пятьдесят, чтоб, значит, знал свое место.

Григорий подтолкнул Степана в подвал, и тот пошел вниз по лестнице, пристыженно сгибаясь. За ним, насвистывая что-то блатное, спускался Григорий Панюшкин, поигрывая на ходу тяжелой тупицей — остро отточенным мясницким топором.

Кусок свинины был отрублен моментально. Завешен. Отличный мясной кусок задней ноги, из самой розоватой ее середки. Кусок потянул на пятьдесят два рубля. Денег таких у несчастного Кандыбы в кармане не оказалось, пришлось прибегнуть к займу из толстого портмоне начальника Теребихина.

Вся эта нехитрая процедура сопровождалась столь мерзким хихиканьем, причем хихикали и сам начальник, и завсекцией, и вытирающий сальное острие о передник Григорий Панюшкин, что бедный Кандыба сломался: отвез начальника домой, забросил мясной шмат в холодильник дежурки и выехал с фарой на трассу.

Ночью, слегка осоловевший от поднесенной водки, ублаженный оголодавшей тоже

женой, он тихо плакал в подушку под ее сладкое посапывание.

На другом конце города в жаркой постели метался Гришка. Он бы должен был радоваться, торжествовать победу, но почему-то только ворочался с боку на бок и шепотком кого-то материл. Поняв, что заснуть ему не удастся, он встал, подошел к кровати мальчика, долго смотрел на него, нежно провел тяжелой рукой по пушистым кудрям и отошел к окну — там висела луна, большая и оранжевая, как апельсин. Вид ее настолько захватил Григория, что он застыл у подоконника и так и стоял, не в силах оторваться.

— Во, балдоха,— прошептал он, вконец загипнотизированный ее отрешенной, страшной красотой.

Такой луны он не видал никогда, даже на зоне, где человек порой бывает внимателен к таким мелочам до чрезвычайности.

ДВЕ ШАПКИ

Вот Васька Грозный — он кто был? Бабки за юродивого держали, попы боялись, менты стороной обходили,— да что говорить — колоритный, конечно, мужик, но не более того. В войну, когда партизанил,— детей им пугали. «Фамилия,— он объяснял,— обязывала!» В сорок шестом, не охолонув еще, шлепнул одного хапугу-милиционера — прямо в отделение зашел и из люгера в упор. «На тебя,— говорит,— гад, такая только управа». Памятуя боевые заслуги, впаяли ему десятку, но он и в Коми не утих — открыл войну уголовникам, ну а те просто — уронили на Васю елку: жив остался, а ноги по самую сиделку отпилили.

Назад в Старгород въехал он на каталке: борода лопатой, на груди, вечно не застегнутой, вторая борода, в ней иконка медная — за километр блестит (по

Сибирям шляясь, сумел он заучить Библию почти наизусть — как накатит, прям кусками шпарил), и ватник, кажется, на любую погоду один; за спиной рюкзачок, в руках деревяшки окованные: герой-инвалид — нога не болит, потому как нету — гони за то монету.

Сначала сидел около телеграфа — и его «Две шапки» окрестили: на голове кепка, перед тележкой трюх для копеечек — это летом, зимой — наоборот. После стали гонять — не положено в стране побираться, так он к нам на «Электросилу» перебрался. Сидит около проходной (не просил никогда — сами клали), кому ласково скажет, кого языком зацепит, особенно если женщина — балагур был. А бабки — особая статья — он с ними много якшался. Идет такая бабка в церковь мимо завода, Васька подъедет да как гаркнет на всю улицу: «Радуйся, дочь моя едомская, дойдет и до тебя чашка, ужо напьешься тогда допьяна и обнажишься!» Что-то вроде того. Мы стоим в кустах с портвешком — с ног валимся, а бабка на серьезе с ним так раскланяется, копейку положит. И, что интересно, в церковь вроде не ходил никогда, а проедет мимо — перекрестится обязательно. Но попов все больше не любил.

— Вась, а Вась,— начнут его подначивать,— икону продай.

— Никак нельзя — хороший человек подарил.

— Вась, а Вась, а чего ты икону носишь, Библию читаешь, в церковь не ходишь?

— Нельзя мне: попа увижу — прибью, а и так грешен.

— Чего ж так, Вась? — мужики уже в хохот.

— Жадные стали, только деньги на уме.

— Ты им что, завидуешь небось, сам миллион скопил?

Ну он и сорвется, как пойдет матюгать — специалист по этой части был почище старой цыганки, а нам и весело. Все нас «анчихристами» называл, но любил — стакан чистый принесет, закуску какая есть — поделится, и сам, конечно, не отказывался. Он только неправду не любил.

Раз на вокзале углядел двух наших мужиков: поддавши — им море по колено, а тут спецдилижанс выворачивает. Он их за руки: «Везите меня к такси, быстро!»

— У нас, дядя Вася, денег нет.

— Не вашего ума дело.

Подвезли к стоянке. А там только один лихач и стоит, вечно он на вокзале ошивается.

— Заноси меня, ребята, назад!

Занесли.

Лихач на голос, конечно, берет — известный давила: «Куда вы мне вонючего ложите — не повезу».

Ну, дядя Вася ему: «Не спеши, сынок, нам недалеко — на ту сторону, по Ломоносова».

— Сказал, не повезу.

— Я тебе хорошо заплачу.

А все знали — кошелек у Грозного на поясе висел. Вот Вася руку в кошелек запустил, вытащил целый ком денег: «Видал?» Лихач объявляет: «Тридцатка!»

— Хорошо, хорошо, парень, только довези.

Доехали. Мужики что — слезли, дядьку Васю вытягивают. Он к передней двери подь-

ехал — расплатиться. Поискал, поискал на поясе и говорит: «Слушай, сынок, дай-ка мне спичек, я, кажется, на сиденье кошелек обронил».

Таксист смекнул что к чему — по газам и уехал — сам решил кошелек поискать. А он как на поясе висел, так висеть и остался. Весь город потом таксиста подкалывал: «Ну как, нашел грознинский кошелек?»

И бесстрашный был.

Наш Главный утром никогда на машине не ездил, обязательно пешком — демократию еще тогда насаждал. Вот они и повстречались как-то на мосту: Вася Грозный катит, а Сам ему навстречу. Увидел инвалида — решил заботу проявить:

— Кто таков будете, дедушка? Не нужно ли чего...— и осекся, иконку разглядел.

А Вася Грозный как завопит: «Вспомни, Господи, что над нами совершилось; посмотри на поругание наше: добро наше перешло к чужим, дома наши — инопланетяне забрали!» — ну и дальше — любимая у него была пластинка, как выпьет — все нам читал.

У Главного сразу остекленение глаза: как услышал Васькин рев, отвернулся и пошел командирским, но Грозный не отстаёт — катит да вопит: «Нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха!» Охрана опешила: народ кругом, а дед — инвалид, неудобно как-то вязать, решили не замечать. Главный шаг убыстряет — Васька не отстаёт. Охрана шипит уже, а он знай себе поливает: «Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их!» — весело ему. Так до самого обкома и проводил. И ничего ему не было. А Главный, говорят,

два дня на машине ездил, но потом опять пешком стал ходить.

Так же и попа нашего отбрил. Прислали откуда-то из столицы провинившегося попа — толстый такой, что бочка, коса масляная. А Старгород для них в таком деле — тупик — дальше не прыгнешь, выше не взлетишь. Вот он со скуки и пошел бабок оббирать да водку пить с райкомовскими на катере. У нас ведь ничего не утаишь. Дошло до Васи Грозного — отправился порядок наводить — беспорядка мужик не терпел. Выждал его у церкви и при всем честном народе на рясу ему харкнул и понес: «Сребролюбец ты, сукин сын...» Поп от неожиданности в землю врос. А Васька Грозный ему: «Покайся, сыне, ибо жить тебе не долго осталось — знай, пожрет тебе змей печень!» И как в воду глядел — поп через полгода от цирроза загнулся прямо у доктора Вдовина на койке. Вот уж бабки зашущукались. А если правду, так, может, он и чувствовал что — не одному попу смерть напропорочил, теперь же не зря про биополя эти говорят на каждом углу.

Лечить — случалось, что лечил, но не каждого вылечивал. Вон, Костя Терентьев, с пальцем к нему пришел — Грозный его в больницу погнал: «Руби немедля — иначе месяц тебе сроку даю!» Костька испугался — так Грозный на три дня и ошибся всего. Он этих гангренозно-нагледелся в Сибирих — рассказывал. А бабку раз привезли зятя — сам видел — змея ее укусила. Нога как тумба и синяя аж в черноту. Так Вася что-то тер-массировал — лимфу, видно, перегонял, и через неделю спала опухоль — запрягала

бабка, что пуховая коза. Если было — я того никак не отрицаю, как Грозный говорил: «Да — да, нет — нет», у него таких присказок полным-полно было. Но взглядом никогда никого не лечил, хотя взгляд у него вмиг как колун тяжелел. Раз, помню, пили пиво в «Ветерке», залетный один развыступался: «Там я был, это видал...», так Грозный выкатил: только поглядел на болтуна — его и сдуло. Глаза у него, бывало, как бешеные, сверкают, а бывало, в одну точку глядит, не заметит тебя — чудаковина, конечно, за ним водилась, только самая обыкновенная. Но что могу сказать точно — после стакана никогда не плакался на судьбу, как у нас водится, а видели бы, в какой он норе жил — бабка его пускала. Так жил же!

Вот так катался-катался, привыкли мы к нему.

В один день (утром потом вспомнилось бабке, он сказал: «Зажился я, старая, пора мне и на покой») проходили мимо двое с химии. Увидали шапку, а денег в ней на бутылку было точно — первая смена как раз на завод прошла, отобрали. Вася Грозный им вдогонку: «Козлы вонючие, где мои ноги!» Эти вернулись и спрашивают: «Кто здесь из нас козел, а, обрубок?» А он: «Ну не я же!» Сунули заточкой в горло — и вся любовь.

Хорошо еще, Людка Селиванова с электролитного видала — прибежала к нам в ремонтный: «Ребята, дядя Васю зарезали!» Кто с чем был — с тем и побежал. Догнали мы ласточек: один прямо на месте кончился, другой — в больничке, Грозный был бы жив — порадовался бы.

Похоронили мы дядя Васю. Бабок море

натекло — иконку его заказали Пашке Смолину в нержавейку заделать и на крест. Ну, он и заделал капитально — не оторвать будет, а с бабок столыжник требовал. Да не с бабок получилось — от Грозного остались тысячи три, на них бабки и оградку, и камень соорудили. Мы же и шабашили — с того свету дядька Вася нас опохмелил — уж мы ему как своему старались. А бабки — что с них взять, совсем умом тронутые — лампадку навесили, и потянулась их чередка: всяко тут каются, поклоны бьют, иконку зацеловали, а уж слухов, слухов — мол, юродивый старгородский исцеляет.

Может, кому он послабление и делает: в-первых, медь чистая полезна — ион ее отрицательный наше поле притормаживает, во-вторых, элемент самоуспокоения не забудьте — сосредоточение на одной точке напряжение снимает — я книжки-то читаю, интересуюсь этим делом, но лично нас он всегда от скуки исцелял. Подкатит к нашим кустикам, всем приветы раздаст и возопит: «Ну, наливай, анчихристово племя», и как-то сразу от присутствия его одного хорошело. Вот похочем-похочем, а и задумаешься с его рассказов — как он в жизни повидал, мало кто видел.

Мы и теперь соберемся с мужиками, вспомним дядьку Васю, поднимем стакашок, и кто-нибудь скажет: «Радуйся, дочь моя едомская, дойдет и до тебя чашка, уже напьешься тогда допьяна и обнажишься!» И что это за дочка едомская, мы не знаем, но смешно. Мы и смеемся, а после уж — выпиваем.

ЧУДО И ЯВЛЕНИЕ

В редакцию журнала «Наука и религия»

Уважаемая редакция!

Я, признаюсь честно, журнал ваш мало читаю, потому как в Старгороде достать его почти что и невозможно. То есть, наверное, по разнарядке спускают кой-какие номера в «Союзпечать», но мне не попадались. А тут наткнулся в прорабской на номер, где описываете вы чудеса с Туринской плащаницей и что с ней делали ученые, вот и решился описать вам наше местное, так сказать, чудо.

Почему я пишу? Да потому, что не просто охота мне бумагу марать, а важно, чтоб вы зафиксировали. Может, кому этот материал и сгодится. Теперь, когда о религии стали много писать, люди принялись пересматривать свое к ней отношение, многие же остаются на прежних позициях. Я лично думаю, что наука здесь

мало что прибавит, но не поделиться с вами не могу, как сам был свидетель необычного чуда. Философский словарь что говорит? Чудо — то, что объяснить нельзя, а явление — дело объяснимое наукой. Вот я и хочу поведать вам о необъяснимом.

У нас тут в Старгороде много теперь приезжего народа проживает, но как старожил могу подтвердить: Райка Портнова наша что ни на есть старгородская. А почему я знаю? Так я ж жил с ней в двух шагах — она на Розы Люксембург в железнодорожном бараке, а я на Либкнехта, где раньше тир был «Досааф». И в магазин на рынок к ней ходил, конечно, он у нас тут единственный под боком.

Райка Портнова ростом была маленькая, а с виду страшная. Кто не знает, и тот скажет — бывшая зэчка. Она и не отпиралась. Как гаркнет басом: «Да, я сидела, и не скрываю, а что такого?» У ней голос был прокуренный, сиплый, и борода росла седая: как она запивала, забывала ее обстригать. Если товару не подвезли, Райка прямо на фуфайку ложилась под прилавок и дрыхла — ей что директор, что ОБХСС — никого не боялась. Зато своим всегда помогала — отпускала в обед, если, конечно, было чем.

Как у нас с мясом стало туго, я уж, признаюсь, стал с черного хода заглядывать к Гришке-мяснику (фамилию не называю по понятной причине). А Райка, если не ее смена, вечно в магазине ошивается, дома-то у нее не протолкнуться. Часто видал ее и в подвале. Сидит на ящике, пиво пьет и все без остановки что-то рассказывает. Вот, например, зашел разговор за Высоцкого. А Райка вклинилась: «Я его не

люблю. Он все песни у нас украл. Это ж не он, мы сочиняли. Вот сидим вечером, скучно, ну, кто-то и говорит: то-то и то-то, первую, значит, строчку, а другая добавит, и так к концу вечера — песня у нас готовая. Вот, например: «За что я, мама, жизнь свою сгубила...» Простите, дальше не помню — это Райка все их знала. Она и пела часто «четвертым голосом», как она объясняла. А торговала бойко — видит женщину в первый раз, а все равно что-нибудь такое отмочит, смотришь — вся очередь смеется. Она, понятно, веселая была.

Я тут купил брошюру «Что в имени твоём», житомирский кооператив «Олеся» выпустил за рубль, так там написано, что Рая означает «легкая» по-гречески. А отец Евтихий говорит, что имя просто так не дается. Он, наверное, прав — Райка легко жила.

— Я,— похвалялась,— шесть детей имею, четырнадцать внуков и пять правнуков. И чем их больше, тем лучше.

Жизнь у нее была, конечно, весьма обыкновенная. Как у всех. Работать только старалась где поближе к мясу. На мясокомбинате, в столовой, кормить-то своих надо. Я почему знаю — сама болтала.

Стоим как-то раз в подвале, а Гришка охлажденку режет, ее тупицей не разрубить — мясо свежее, аж кровь сочится. Райка тут как тут. «Я,— заявляет своим басом,— кровушки-то попила. Любила я кровушку. Как корову жажнут, сразу разрез по горлу — подставляй не хочу. Мы все с кружками ходили».

Страшенная, что чертица на картинке, маленькая, бородатая, да в шапке мужицкой, как

влепит — хоть стой, хоть падай, а ей того и надо.

Но я к чему веду, что вроде жизнь у ней совсем не христианская была. В церковь не ходила, только если детей покрестить там или повенчать. А сама, все знали — шесть детей от шести мужей, да и те не задерживались долго. Ну работала, ну кормила, да кто ж так не живет, а что помогала своим с товарами, так это, наверное, по привычке больше. Да и как знакомому отказать? Характер только разве веселый был. Словом, жила как мотылек, без забот, без хлопот, балагурила вовсю, а иногда и водку пила допьяна, когда деньги наторговывала.

Одно только, пожалуй, не совру. Еще когда о церкви так не писали, Райка громко на весь магазин басила: «А что Бог есть, я знаю. Я и крест ношу — материнский еще крест». И показывала. Такой, знаете, медненький, простой.

Ну вот я и подобрался к главному, к смерти Райкиной то есть. Ведь что случилось? А случилось вот что и, заметьте, не в праздник какой, а в обычный день. Пришли бабки к службе загодя, рано пришли, а их тетка Зоя встречает: «Женщины, женщины, милые!» Сама не своя. Вот и поведала им.

Приплелась она затемно, села, как всегда, на скамеечку под топодем, а там кустики, тихо. Никому не видимая сидит. Смотрит, идет Райка по улице, странно так идет, за сердце держится. В калитку вошла, к церкви только настроилась, как ноги у нее подогнулись, пала она на бок и лежит камушком.

— Я,— рассказывает тетка Зоя,— к ней

было собралась, как смотрю, из-под земли лапища черная, волосатая вылазит. Цап Райку за ногу и потащила. По нуп затянула, но сделалось вдруг светло, крыла, крыла так затрепыхали, и слетели с колокольни белые голубицы. Оземь ударились — стали светлые ангелы. Свет от них такой просиял — не можно глазами смотреть. А тот из-под земли вылазит — черной, грязной, удушливо так кхекает.

— Кого,— говорит,— забрать собрались? Мое это добро — не пущу.

— Никак не твое — наше,— ангелы тому отвечают.

— Как так понять? Сколько лет мне служила, а вам теперь отдай?

— Она раскаялась,— ангелы отвечают.

— Как так раскаялась? В церковь не вошла, а раскаялась? — бес от смеха аж затрясся.

А ангелы ему: «Чуть только Бог увидел ее раскаянье, так и принял его. Она же только над раскаяньем своим и была властна, а Бог и владыка всяческих властен был над жизнью ее».

Тут бес только зло чихнул так и вскричал: «Ну дайте же мне хоть тело пожрать». Схватил, трахнул ее оземь и провалился в преисподнюю. А Ангелы Господни приняли душу чисту, и светом та засияла, аки ангельский. С нею и поднялись ввысь, к колокольне, голубицами белыми улетели и в небе чистом истаяли.

Так бес посрамлен был.

И в тот день была гроза, и с неба град сыпал с голубиное яйцо. Бабки, конечно, связали непогоду с Райкиным исчезновеньем, но им простительно, они книг не читают, тогда как давно известно, что град с голубиное яйцо — довольно обычное атмосферное явление, а что

совпало, так и не такое по чистой случайности происходило и наукой зафиксировано.

Вы скажете, мол, байки все это насчет беса и ангелов. Кабы я сам там случайно не проходил — может, и не поверил бы. Вот как сейчас помню: церковь наша, вот и бабки стоят кружком, а посерединке лежит Райкино пальто зеленое, шапка ее мужская, в ней она всегда ходила, ботинки, белье какое-то, а поверх — крестик медненький, и благоухает кругом, словно ладаном кадили, а и служба еще не началась.

С той поры никто и нигде Райку у нас не видел, а пять лет прошло. Отец Евтихий отслужил по ней панихиду, потому как дочка ее подтвердила — мать вдруг утром встала, пожаловалась на сердце, сказала, что надо ей в церковь сходить. А раньше же калачом заманить нельзя было.

Я долго над разгадкой бился, но, не придумав ничего, пошел к своему старому учителю истории Семену Петровичу Огуречникову. Тот глазки так сощурил и говорит: «Народу надобны чудеса, чтоб верить, жизнь-то у него тяжелая, а то, что ты мне сейчас рассказал, — чистой воды сказка».

Не поверил, значит.

Я б, может, тоже не поверил, но где же тело тогда, спрашивается, и ладан кто курил?

Пошел я к отцу Евтихию. Есть у нас такой монашек — молодой еще, но уж очень хороший, по нему видно — этот не совет, как, кстати сказать, и тетка Зоя — вот уж кто праведница всю жизнь, у любого спросите.

Выслушал он мои сомненья (а в тот год, когда Райка исчезла, его еще с нами не было), замолчал, склонился несколько вперед, голова

с закрытыми глазами поникла, и протянутой ладонью правой руки он мерно и тихо так против сердца своего водит. И так лицо его изменилось, словно просияло прямо, и открыл глаза, а в них одна только радость, и на устах радость, да и в выражение всем лица. И испытал я вдруг восторг, других слов и не подобрать, и так у меня на душе чисто вдруг стало, что и говорить-то и слушать ничего уже не нужно мне. А он так поглядел на меня и ничего не сказал — друг друга мы тогда без слов поняли. Ключнул я его в ручку и бежать.

А что я понял, того вам не объяснить — нет у меня слов на это. Не так все просто, одним словом. Насчет беса и голубиц я еще порой и сомневаюсь, но пальто-то осталось, вот в чем закавыка.

Одно скажу — пошел я в тот день к своему экскаватору, и такие силы во мне проснулись, что траншею под кабель всю за раз прокопал, а по плану мне б ее три дня ковырять надо было. Начальство, понятно, не похвалило, а ребята после работы, как с ними поделился, только плечами пожали. С одной стороны, кто ж у нас Райки не знал, а с другой, вижу, и они, верно, об этом передумали — не каждый же год такие чудеса встречаются, верно?

Вот я почему вам и пишу, чтоб вы в курсе были. Вам же наверняка со всего света материалы стекаются. Вы зафиксируйте там, в своей картотеке, наш случай, может, кому пригодится. И хотя никакой научной версией этого не объяснить, но что явление пальто было — факт. Я самолично не только видел, но и руками его трогал.

А как Райку не нашли, крестик ее надела

младшая дочка Люська. У Люськи двое детей, и тоже от разных мужей приبلудных. Интересно, есть ли тут какая связь?

Хотелось бы и ваше мнение узнать, если есть какая статистика, пришлите, не сочтите за труд.

С искренним уважением, экскаваторщик
Горзелентреста

Яков Смирнов

СЧАСТЬЕ

Виктор Иванович Веревкин — прирожденный походник, и когда случается летом, разбив лагерь, все обустроив, подсесть к костерку, взять в руки гитару...

Виктор Иванович — учитель пения. Но главное в его жизни — лето. Тогда он устраивается на старгородскую турбазу инструктором, водит людей в водные походы. Сто пятьдесят километров на веслах — занятие не для слабаков, а попадают нытики — горе им, у Виктора Ивановича в походе не забалуешь. Втягиваются, вработываются, а потом благодарят! Да, да, еще и как благодарят, где ж такую красоту увидишь еще, а тут тебе и Озеро, и речки... Все на веслах, своим трудом!

Да...

Последний поход удался — люди приехали довольные. Сдружились. Совместный труд — он сплавливает. Вот только у самого руководителя вышел маленький

конфуз. Женщина, оказывавшая в походе благосклонность, как только вернулись на базу, изменила с москвичом. И, что всего обиднее — вчера у него было пятидесятилетие. Не просто так — дата. Уже договорились, как вместе отметят, Виктор Иванович специально денег приберет, и на тебе! Впрочем, он старался не очень переживать. Всем им одна цена.

Она его пожалела!.. Нет, никаких сантиментов — он ей прямо так и заявил. Он с ними просто привык. А жалость... Знает Виктор Иванович их жалость, чем она оборачивается. Дважды обжегся, квартиру, с трудом заработанную, разменял — теперь не попадетсЯ. Да и чего его жалеть? Хитрые жучки... И — обиделась!.. Да и наплевать! Тысячу б лет ее не видел, скоро новый заезд — будут еще красавицы. Главное — спокойствие сохранять, нервы не трогать.

А все-таки обидно — пятьдесят лет. И даже сын не пришел поздравить — дуется. И за что? Попросил сорок рублей — мокасы ему надо кооперативные на рынке купить. Перебьется — не война. У Виктора Ивановича в его годы и сапогов путевых не было, а тут мокасы за сорок рублей. Да он пятьдесят рублей на юбилей отложил, а тут кеды крашенные за сороковник...

Но жалко, жалко, что сорвалось. Готовился же.

Лег вчера спать злой и трезвый, телевизор даже не стал смотреть.

Если так рассудить, начавшееся лето пока радовало мало. Всю зиму ждал его, чинил-подбирал снаряжение и высиживал уроки — ненавистные, каторжные уроки. Слушал дикий

рок на школьном дребезжащем магнитофоне. Мечтал о лете.

Виктор Иванович ненавидел своих учеников. Даже пятиклашек теперь петь хором не заставишь — задохлики, дети алкоголиков, уже — потенциальные воры. Он им не мешал. Понял, что бессмысленно. Приходил в класс, садился. Они врубали магнитофон со своей пленкой, а он отключался на сорок пять минут. Потом еще на сорок пять. И еще. Мечтал о лете.

Если в классе начиналась возня, бывало, таскал и за уши, но чаще дубасил венником пониже спины. Ничего, это на пользу — ученики и не такое дома видели, не обижались. А Виктор Иванович вспоминал, как строго их, детдомовцев-блокадников, воспитывали. А нынешние — лучше и не думать... Просто в пропасть все катится. Старухи говорят, к концу света идет. А что, и похоже: разгильдяйство кругом, никто работать не хочет — своими руками себе яму роют. А женщины?

Он их вообще за людей не считает. Ведь как он сперва старался дом создать, обжить. Нет. Только деньги дай, а сами... Попользоваться, обобрать — чужой карман на глаз давит. А то и засудят. А что — скольких и засудили!

Сына своего воспитывал как надо — настоящим походником. Придет армейское время, добрым словом его еще вспомнит. Но мать... Все неймется ей — все напортила. Балует. И вот он уже и по дискотекам, и мокасы ему подавай. Прибежит на пять минут, стрельнет десятку, и был таков. А как вычитывать его — обижается. Плачет. Никакой мужской твердости. Ну а как сын в плач, Виктор Иванович все ж

пожалует — даст. И что за поколение вырисовывается?

Потому-то он их просто перестал замечать, а себе приказал сдерживаться. Всех не нажалешься, да и жалостью ничего, равным счетом ничего не добьешься. А нервные клетки не восстанавливаются! Это как приказ себя беречь. А он проживет долго — все почти время на велосипеде, и гантелями занимается, и холодный душ. Не пьет, не курит, читает «Аргументы и факты» и «Огонек». Состоял сперва членом старгородского общества «Зеленых», но плюнул на них. Как понял, что к нему не прислушиваются — ушел. Одолженья ни у кого не просим. Слишком умные. А так — болтология одна. Одна говорильня. И никто-то ему не нужен. Один домой пришел, картошечки отварил, и с килькой, и с квашеной капусткой! Милое дело! А женщин...

Сколько надо — летом наберет, а ходить на городские посиделки «Кому за тридцать» — вот уж срамота. Нет, всю жизнь сам, своими руками. Своими руками только счастье куется, ясно! И природа, природа, она только и лечит. Тишина. Костерок. Уха поспекает. И луна. Луна, знаете, какая в Старгороде — всем лунам — луна!

Он еще и потому ходит в походы, что всем там нужен. Он и палатку — вмиг, и костер — от одной спички. А эти москвичи да ленинградцы... Горе луковое, что с них взять... У него самого заочно институт культуры закончен, но он же не кичится.

А после похода благодарят — всегда благодарят. «Спасибо, Виктор Иванович, огромное спасибо — на всю жизнь запомним!»

И запоминают ведь. Еще бы, какая кругом красота — природа истинно русская! С ней, с ней родимой, и сердце успокаивается.

За большую лысину его прозвали Плейш-нером. Он знает. Он их знает. Что коллеги по школе — сплетники да лодыри, что бабы с турбазы — он их стороной. Ведь на пятьдесят лет ни один не поздравил. Хоть бы открыточкой. Могли б для проформы, но ни один. Это им не анонимки в почтовый ящик совать. Ну и ладно, как жил без них, так и проживет. А женщина эта жалостливая...

Скоро, скоро уже новый заезд, новые женщины. И тишина. Острова. Гладь речная. И уха. И костер. И гитара. Виктор Иванович по просьбе играет на ней русские романсы. И его слушают. И как еще слушают!

Он спустился по лестнице, снес на руках велосипед — пора было ехать на базу. Особых дел там не было — пересменок для него, но он каждый день приезжал, как на работу. Где что починит, где что подкрасит. А ведь платили, стыдно сказать, сорок рублей — полставки всего. Ну да ведь он не за деньги — не продается, как говорится, вдохновенье.

Он заглянул в почтовый ящик, так просто, по привычке — ничего хорошего он не ждал. Там лежал листочек от школьной тетрадки. Виктор Иванович вынул его — уже знал. Снова подкинули.

Всю зиму ему досаждали — то череп с костями, то матерщина, то угрозы квартиру поджечь. Гады, паршивцы, что он им такого сделал, сволочи. Но он сдерживался долго. Караулил даже. Потом не стерпел, пошел, нажаловался участковому. Так тот еще и высмеял — «Ведь

это ребяташки!» Не ребяташки — уголовники! И его сын таким же растет, даром что отец лупит. Стрелку на запасных путях перевели — хорошо, обходчик заметил. Тогда много шума было. Этот капитан, дармоед, их и спас — отмазал сынулю. Тоже — страж порядка, а в подъездах грязь, молодежь по ночам собирается, как еще только никого не изнасиловали?

И его — участкового — Виктор Иванович приказал с той минуты себе не замечать, а раньше обязательно здоровался.

Но листок оказался не совсем обычный. Виктор Иванович прочитал:

Письмо-счастье.

Это письмо приносит счастье. Подлинное письмо находится в Голландии. Теперь оно попало к Вам. С получением этого письма к Вам придет счастье и удача. Но с одним условием: письмо отправить дальше. Это не шутка. Счастье придет к Вам. Никаких денег за счастье не заплатить. Счастье не купишь. Отправьте это письмо тому, кто нуждается в счастье, кого Вы знаете. Не задерживайте с отправкой. Вам нужно отправить 20 писем за 106 часов (4 дня). Даже если Вы не верите в колдовство. Жизнь этого письма началась в 1842 году. Конан-Дойль, получив это письмо, поручил секретарю размножить его, и через 4 дня он выиграл миллион. Служащий получил письмо и выбросил его — и попал в катастрофу. Хрущеву подбросили письмо на дачу в 1964 году, он порвал его, и через два дня коллеги из Политбюро его свергли. Ни в коем случае не рвите его, отнеситесь к письму сердечно. Ре-

зультат на четвертые сутки после отправления всех писем.

Текст не меняйте.

Вот такой листочек. На бумаге в клеточку. Написанный под копирку.

Он почему-то Виктора Ивановича даже позабавил. Жалко, не было соседей — он бы им показал. Ну да все это старухи, дуры поганые!

То все святые письма шли, а теперь вот — счастье. На блюдечке, значит.

Интересно получается. Даже бабки стали за счастьем гоняться. Да все б им забесплатно. Переписал двадцать раз — и получай миллион. Как Конан-Дойль. И все б им через чудо да в рай въехать... А чудес не бывает, нет — это он твердо знал. Все надо своими ручками зарабатывать. Что потопаешь, то и полопаешь. Да!

Но листочек не выбросил — покажет на турбазе — вместе и посмеются. Или бабке Лещевой отдаст — пускай счастье ловит. Ведь всё на жизнь жалуется да на сына. Сын пьет, жена его тоже, а бабка Катя пожалеет-пожалеет их одну неделю, а другую клянет, потом опять — жалеет, потом опять — клянет. Так и существуют, и все больше на скамеечке около дома — языком с прохожим зацепится, поплачет, поругает горе свое злосчастье — день прошел. А сама ж сына воспитывала — с детских лет по колониям. Где ж там внукам нормальным вырасти — туда ж, куда и папка, глядят.

Точно, ей и подарит — распространит. Деревенские, конечно, в эту чепуховину верят. Им что ни скажи — они во все верят. В сны — верят. В дурной глаз. В наговор. В то, что если

попадья покадит — утопленники всплывают. В НЛО.

НЛО — это особая тема, любимая у Виктора Ивановича. Любит он о пришельцах поговорить у костра, посбивать спесь с московских и ленинградских грамотеев. Они ему даже из газеты факты приводят, а он их знанием физики — нет таких законов, чтоб больше скорости света объект передвигался! И законами, законами их, а они ж законов не знают — только трепаться горазды. А что в газете, так все журналисты на одно лицо — вторая в мире древнейшая профессия, а первая — блядь, конечно.

Журналисты... Был у него в походе один — только водку жрал да уху наворачивал, а работать — ни-ни — не заставишь. Он бы небось тоже в такое письмо поверил. А что в нем логики никакой — это им не важно. Мистику, понимаешь, Виктор Иванович не сечет. А как он их погнал через Озеро, специально под дождем погнал, так заохали. И еле выплыли. Попугал, что надо, почище всякой мистики! Потом благодарили — до конца заезда вспоминали, как он их спас. Вот, ей-богу, умора.

Виктор Иванович вспомнил того журналиста и так поднял себе настроение. И покатил, педалей не замечал, и уже у самой турбазы, у въезда в деревню, опять про письмо вспомнил. Увидел бабу Катю Лещеву — как всегда, сидела на скамеечке, поглядывала за внуками. И те, как всегда, грязные, замурзанные, все в глине перепачкались — танки лепят. Конечно, когда родители пропивают — игрушки хоть из глины лепи. А что писать в третьем классе не умеют — это не беда. Где ж, правда, в таком хлеву детей вырастишь.

Увидел бабуку, передал ей письмо — ей теперь на всю ночь работы — тоже ведь еле по слогам, как курица лапой. А бабука, дура, обрадовалась. Все благодарила, все кланялась вслед. И он над ней посмеялся.

А потом и посыпалось — как на турбазу въехал. Первым делом его директорша отчитала, что на складе осталось вчера незакрытым окошко — стащили четыре спальника и палатку. Хорошо, умиловил, обещала не вычитывать — напомнил ей, как во время ревизии прикрыл ее с бельем. Ведь все тащат, а он хоть бы гвоздь унес — только приносит. И все Плейшнер виноват.

Пошел окно смотреть. Оказалось оно с трещиной — вынули половинку, щеколду отодвинули и ведь потом на место поставили, скоты. Принялся стекло вставлять — порезался. И здорово — обплевался кровью, пока унял, усосал палец.

Потом и сыночек появился.

— Папка, здорово, это мы в поход ходили, ты не сердись.

Припер рюкзак. А в нем вся недостача.

Они с друзьями решили отпраздновать окончание учебного года. И мама им разрешила идти в ночевку!

И ведь залез — знал, где взять. Плохое не тронул, самые лучшие спальники отобрал и лучшую палатку! И нет, чтоб к отцу домой зайти, спросить. Не хотел срываться — не выдержал. И ремнем его, ремнем — пускай знает! И особенно досадило, что ничего не понял — зубы сжал, не пикнул (это молодец — его сын!), а уходя, в душу плюнул: «Жмот проклятый!» Бросил — и бежать.

Это он-то жмот! Этого уж не стерпеть было. Сел на велосипед — догнал у самой деревни. Остановил поговорить.

Долго они беседовали, все по дороге взад-вперед ходили. Все больше он говорил — сына стыдил. Ну устыдил вроде, пацан разревелся. Пришлось дать ему сорок рублей на те мокасы кооперативные. Ведь давно мечтал парень, а у него деньги на пятидесятилетие отложенные невоспользованными остались.

Так замирились. Пошел на турбазу, взялся крышу на домике поправлять — толь переключивал. Внизу музыка играет, все, кто с ним в поход ходили, его и не замечают — он сидит наверху, молоточком тюкает. Потом в столовой поел, повариха его накормила. В моечном поел, пристроился у столика, в зал не пошел, ну их всех!

А во второй половине дня — на мыс. На Озеро глядеть. Посидел — отошел душой. Со всем уже на природу настроился, так нет, та женщина, что с москвичом изменила — идут в обнимочку, он в плавках, она в купальнике, хохочут. Хорошо — опередил, успел в кустах спрятаться. Сел в кустах, а там сучка турбазовская лежит — Нюрка. Отдыхает. В тень забралась. Только что с мыса видел, как она с деревенским кобелем сцепившись бегала, а теперь в тенек забилась.

Виктора Ивановича увидала — поползла пластуном, хвостом виляет, глазки только что не закатывает. Погладил ее, погладил, а потом вдруг как дал ей пендаля под хвост — Нюрка аж взлетела и с воем из кустов в сторону деревни понеслась — заковыляла.

И даже слезы почему-то от гнева покатались.

Еле отдышался — ведь до спазм в горле! Нет, братцы, так нельзя, нервы надо беречь.

Выходился. Поглядел на солнышко — всегда оно ему радость приносило. И уж на закате запер туристическую комнату, кладовку, сел на велосипед — покатил домой.

Солнышко садилось за озеро. Все кругом успокаивалось. И везде — зелень да вода, куда ни кинь взгляд — вот она красота, вот оно спокойствие!

А через четыре дня (как там в письме-то обещают!) — новый заезд. Новое счастье авось подвалит. Виктор Иванович даже хмыкнул так сладостно-мечтательно.

Уж он себе подберет группку, уж он их погоняет. Вся хворь городская из них на воздухе выйдет — придут здоровыми, загорелыми, надолго его запомнят. Еще и поблагодарят.

А когда через деревню ехал, бабы рассказали — Нюрка турбазовская взбесилась. Баба Катя Лещева взялась ее от ребятишек прутиком отгонять, а та бросилась — ногу ей порвала.

Вовка Лещев, старухин сын, обещался ее подстеречь и застрелить. А этот подстрелит — душегуб известный.

Виктор Иванович ехал домой, крутил педали, не чувствуя — велосипед привычно, ходко у него шел. Вспомнил то «письмо-счастье». Усмехнулся. Принесло оно бабке удачу — три шва, говорят, наложили. Вот тебе и чудо на блюдечке.

ЭНЕ, МЕНЕ, МНАЙ

— Эне, мене, мнай,
Мбондим, мбондим — я.
Эне, мене, мнай,
Мбондим, мбондим — я...

Мальчик ходит по веранде.
Медленно ходит из угла в угол,
под нос напевает:

— Эне, мене, мнай,
Мбондим, мбондим — я...

Уже час так ходит. В одних
трусиках.

На улице в старгородской слободке жарко, но купаться нельзя — бабка страшит ключом. Холодным, как налим. А где налим — там и утопленники, налим сосет их по ночам. Бабка в огороде, мамка на работе. Мальчику сколько-то лет. Он точно не знает. А потому ходит и поет:

— Эне, мене, мнай,
Мбондим, мбондим — я...

Иногда на «я» тыкает себе пальцем в пупцо. Иногда не тыкает, просто напевает, но шагать не перестает. Шагает так: «эне» —

доска, «мене» — доска, «мнай» — через доску, и снова: «мбондим» — доска, «мбондим» — доска, «я» — через доску. Иногда тихонько поет, иногда — громко. Наконец Людка не выдерживает, появляется на пороге с тапочком в руке. Мальчик замирает.

— Ты прекратишь, зараза, прекратишь?

Мальчик молчит.

— Достал ты меня, понял? Еще услышу — голову оторву, мне спать охота.

Людка идет спать, хлопает дверью в избу. Мальчик хихикает, про себя повторяет бабкино слово: «Саматонка». И... нет сил сдержаться, снова начинает:

— Эне, мене, мнай...

Но Людка хитрее — никуда она не ушла, спряталась за дверью и вдруг выскакивает, и тапком, тапком!

Мальчик вырывается, летит с крыльца на двор, кричит ей злобно, сквозь слезы:

— Саматонка, истинная саматонка, сляесся ночь незнамо где, горе мне с тобой!

Людка дальше крыльца не идет, кричит оттуда, обзывается рахитиком недоношенным.

Мальчик выходит на улицу, чешет попу — здорово она тапком. Саматонка! Но ничего, ничего, принесет в подоле — будет знать! Кого должна Людка принести? Конечно же, горе, недаром бабка причитает.

К бабке сейчас лучше не соваться — за помидоры и огурцы голову оторвет.

Он опять принимается за свое нелегкое дело, но только начинает вышагивать вдоль дорожки, только делает три первых шага, как замирает. К Колдаевым приехал почтальон. Лошадь пасется не привязанная, значит, дядя

Вова пьяненький. А от Колдаевых выйдет совсем пьяный. Колдаиха гонит самогон.

Мальчик пробирается под самым забором, там, в акациях, у него протоптана своя тропка. Он пробирается к лошади. К Зорьке. Он сначала смотрит на нее замерев, потом выползает из-под куста. Зорька косит глазом, тяжело дышит мальчику в руку, лижет пустую ладонь. Никто их не слышит? Мальчик оглядывается:

— Зорька, помéне-фумéне, ра?

Нет, никто не слышит — Зорька согласно кивает. Мальчик собирает вожжи, влезает на телегу. Зорька покорно трогается. Ей хочется пить, она тянет к Озеру. Заходит далеко, пока колеса не увязают по ступицу в глине. Пьет.

Мальчик отрезан от берега. Зорька стоит спокойно, ждет, когда ею займутся, прядает только ушами и обмахивается нечесаным, в репейниках хвостом — отгоняет оводов. Мальчику страшно — кругом вода, телега застряла. Он начинает просить ласково и тягуче:

— Зорька, Зорька-а — потиглён, по-тиглён, Зорька, сйглики, сиглики, ну?

Зорька не двигается с места, иногда только вывернет голову, посмотрит большущим глазом и опять стоит — ждет подмоги.

Делать нечего — мальчик смиряется и, не выпуская вожжи из рук, тихонько заводит:

— Мбондим, мбондим — я,

Эне, мене, мнай,

Мбондим, мбондим — я,

Эне, мене, мнай.

По берегу бежит дядя Вова — почтальон, на бегу матюгается, машет руками. Но никуда не деться — кругом вода, а в воде — ключ,

холодный, как налим. Дядя Вова с хворостиной. Он скидывает сапоги, штаны, бредет по глинистому дну, шатается, грозит хворостиной. Дядя Вова доходит до телеги, вырывает у мальчика вожжи, но, не удержавшись, поскользывается, падает в намученную воду. Дядя Вова очень злой. Он встает и, вместо того чтобы помочь Зорьке, принимается хлестать мальчика хворостиной. Это очень больно.

Мальчик плохо соображает, мечется по телеге, но там негде укрыться. Тогда он кубарем слетает в холодную воду. Бежит с ревом к берегу. Пусть ключ, пусть налим, пусть он лучше утонет.

— Сука! Сука! Сука! — кричит он на почтальона, поднимает с земли камень, но добросить ему не по силам.

Скуля, забивается в кусты акации. Трусики, ноги, пузо — все в глине. Как теперь идти домой? Ведь бабка уши надерет, точно надерет бабка.

Он сидит в кустах, слюнит руку, слюнит красную полоску от хворостины, подвывает. Потом ложится на траву — здесь в кустах маленький клочок травы, здесь, когда другие ребята приходят из школы, у них бывает штаб, бывает и окоп. А, бывает, тут рассказывают страшные истории: про Красную Маску, про покойника, про Белую Простыню, про Черную Дверь, про Красного Мальчика, про Белую Перчатку, про Отрезанный Палец, про Кровавую Тетку... Он их боится, но слушает, каждый раз слушает, хотя и знает наизусть. Он переворачивается на спину, смотрит в небо и очень скоро заводит:

— Эне, мене, мнай,

Мбондим, мбондим — я,

Эне, мене, мнай,

Мбондим, мбондим — я...

Он даже начинает прихлопывать себя в такт
по измазюканному глиной пузцу.

Что такое — эне, мене, мнай?

Что такое — мбондим, мбондим — я?

СТАРШИНА

Если пьяный — сидит на лавочке откинув голову, раскрыв рот. Смотрит в небо. Если очень пьяный — голова на коленях. Плачет. По небритой щетине размазывает следы грязной, мазутной рукой. Жалеет ребятишек. Потом идет бить Надьку. Да только та уже ученая — первой цепляется в волосы, а ногтями прямо в глаза метит. Так и существует — вечно он исполосованный, а она с синяками.

Утром он уходит в мастерские яхт-клуба — возится с дизелями, варит, клекает, до половины пятого. Потом часа два, если не успел принять, шабашит. Потом пропивает, что зашабашил. С мужиками. С Надькой. Запивает квасом, но сперва дает напиток любимице — Светланке. Трехлетняя Светлана умница: как отмочит матом — все ржут. Светлана пятая. Последняя. Надька побожилась больше не рожать. Но она

всегда так божится, и он прощает. Ему лестно — Надька ведь, еще и живота нет,— всем растрепет внаглую. А тут — после четырех парней — пятая девочка. Надька ею закрывается, когда сам идет ее бить. И он отступает. С дочкой на руках — никогда. Ложится спать. А утром, не поев, уходит в цех. И парни все норовят к нему — прогулять школу. Он их не неволит. Трое старших по два года в одном классе сидят. И бабушка Катя, его мать, только головой качает — зачем детишек мучать, если они неспособные. Прожила же она, читать не научилась, а прожила, и как поработала — дай Бог каждому другому. А от книжек — вред. Тут в семье пример — Оленька, сестрина дочка, все книги читала, и ночью и днем читала, не оторвать было. А после всех жалеть стала, сидит, плачет — жалеет. Теперь и не узнает никого, когда ее навещать мать приезжает. Нет уж, без книжек оно и лучше.

Бабушка Катя ходит в церковь. Службу знает наизусть лучше грамотных, но теперь уже не поет — зоб ее замучал. Уже она помирать этой зимой собралась, хорошо, Валюша, старшая дочка, спасла. Унесла на руках из собственного дома. Отогрела. И сидит теперь бабушка Катя на лавочке, через дом от сына, а тот, голову закатив, смотрит в небо. Или плачет. Жалеет детей.

И бабушка Катя жалеет. Когда придут — всегда накормит. Но старшие уже стесняются — не ходят. Вывалют на пол сухие корки, выбирают, что еще съедобно, и отмачивают в чае. А Светланка ползает по ним, ползает и так в них и заснет, и описается во сне. Или стоя спит — как лошадь — голову на диван положит и спит.

Это, значит, у Надьки зарплата. Она сто рублей получает в яхт-клубе — моет полы. Летом еще семьдесят — моет уборные на турбазе. Оттуда и волочет оставшийся суп или второе — летом дети едят хорошо. Да еще получает как мать-героиня в городе деньги — тогда купит бутылку, а остальное — детям. Поит Светланку квасом, а та выпекает: «Мама — пиво. Мама — пиво». Надька ржет: «Не пиво, доченька, квас». А Светланка улыбнется хитро и руки в нем моет. А потом и попьет — или ребяшня выдует. Квас вкусный!

А он, как приходит домой — к Светланке. А она — «папа». И папа, если в силах, возьмет на руки, иногда и по голове погладит, и щетиной небритой ее щечку бархатную пощекочет. Когда у Надьки зарплата, и он напьется, и дай ей колотить. Потому последнее время Надька зарплату получит, и за ворота — в город. Раньше и без зарплаты сбегала — поили ее, а теперь только с зарплатой — сама, что ли, поит? Два-три дня нет ее, потом вернется. Без гроша, конечно. Глаза выпученные. Лежит на диване, стонет, дети вокруг нее ходят — носят ей чай. Отпаивают мамку.

А он придет — зыркнет на нее, и на лавочку. А Надька отлежится, приползет. Сядет рядом. Щелкает семечки и жалуется на селезенку. Или прощенья у него просит. Или не просит. Так сидят.

Кто пройдет — поздороваются. И с ними поздороваются. А после перебивают Надькины косточки. А что остается? Ребятишек жалко.

И ему жалко.

Он сидит допоздна. Надька смотрит те-

левизор — фильм. Она до фильмов охотница. Дети тоже смотрят. Пока не заснут тут же — где кто.

А он — сидит. И если плачет — значит, совсем уже пьяный.

Ему за тридцать шесть. Но с виду не дашь. Он уже и забыл, когда вернулся с флота. С атомной. Потом взял Надьку — от кого-то отбил, — та с семнадцати лет была выгнана из дому. А он красавец был знатный — я те дам! Потом пошли дети. Не сразу — лет через пять.

Он ходил к доктору — проверяться. Доктор сказал, что своих у него никогда не получится. И утешил — хозяйство будет работать исправно.

Он пришел весь в лычках, в значках, даже с медалью. Старшиной первой статьи. Тому свидетельство — фотография. Висит на стенке у бабушки Кати над кроватью, среди всех ее детей и внуков.

«Что ни говори, пришел-то он гоголем — любая замуж соглашалась. А он шалаву выбрал, прости, Господи», — бормочет старуха на лавочке.

Через дом сидит он — плачет, жалеет ребятшек, себя, Надьку — весь белый свет ему тогда жалко.

А у соседа и пожалеть некого — через месяц после свадьбы зарубил жену топором. Примерещилось что-то. До сих пор ему в Коми посылки посылают.

ГЕРОЙ

Воскресенье. Утренний чай допит, но в огород идти неохота. Максим Максимыч разминает «беломорину», прикуривает, смотрит через окошко на улицу — выглядывает дочку с внуками, гадает: приедут — не приедут сегодня из города, или опять загуляет? Как связалась со своим зачетным уголовником, все пошло наперекосяк. Жалела она его, понимаешь... Родила двойню. Развелась. Больше, говорит, папа, замуж ни за что... А что — так гулять?.. Скоро приедут на каникулы, лето началось!.. А ведь езды — двадцать минут на автобусе. Двадцать минут... Ну — полчаса от силы...

Антонина Павловна доедает творожник.

— Как думаешь, приедут?

— А?..

— Ну тебя, глухая тетеря, доела?

— Ага.

— Ну, почитай, что завтра на смене мне расскажут.

Максим Максимыч служил прапорщиком на метео в Мотовихе, теперь сторожит мебельный комбинат. Сутки сторожит — трое по хозяйству. Антонина Павловна тоже пенсионер. Работала бухгалтером на хлебозаводе, но давно уже сидит дома.

— Ага,— Антонина Павловна берет с полочки газету, надевает очки.

— С начала читать?

— Не знаешь, что ли, с семнадцати...

Она принимается за текст: «— Понедельник. 9 июня. I программа. Семнадцать двадцать. «Отзовитесь, горнисты!» Веселой, задорной песней начинает свое выступление агитбригада пионерской дружины Куйбышевского района столицы. Она лауреат Всероссийского конкурса школьных агитбригад. Ее выступления помнят строители Томского химического комбината, Калининской атомной электростанции, моряки Черноморского и Балтийского флотов, труженики Нечерноземья. Агитбригада — не единственное детище пионерского штаба Куйбышевского района Москвы».

Максим Максимыч недвижим. Слушает, глядит уже не на улицу, а на Антонину Павловну. Та, отхлебнув остывшего чайку, продолжает:

«— 24 года назад по инициативе штаба была впервые проведена Вахта памяти «Вспомним всех поименно». И каждый год 9 мая, в День Победы, встают ребята в почетный караул у мемориала памяти защитников Москвы на Преображенском кладбище. В этом году

они заработали и перечислили в Фонд мира, в детский дом номер 73 Московской области, в фонд «Антиспид» четырнадцать тысяч рублей. Штабисты не забывают тех, кто живет с ними рядом. Операция «Забота» стала одним из основных дел штаба».

Антонина Павловна отрывается от газеты.

— Мучат детей. Мне ребяташки говорили, что у них в школе девочку от нашего Огня на «Скорой» увезли — газа надышалась.

— Ты знаешь чего — ты лучше читай,— Максим Максимыч с досады опять отворачивается к окну.— Там же про День Победы сказано. Один день они стоят, а у нас круглогодично!

Павловна кивает головой, переворачивает страницу. Изучает. И вдруг вся преображается:

— Максимыч, Максимыч! Хамидуллин-то, что Прохорова резал! Нет, ты посмотри — герой!

— Ну! — Максимыч опять поворачивается к столу. На сей раз заметно быстрее.— Ну, что там?

— Нет, смотри-смотри, это и я послушаю: «Человек и закон». «Пьянство — причина преступлений. Первая программа. Восемнадцать сорок. Недавно областной старгородский суд приговорил к четырнадцати годам лишения свободы двадцативосьмилетнего Хамидуллина. Он осужден за тяжкое злодеяние — покушение на убийство. Преступление совершено из хулиганских побуждений и с особой жестокостью. Что же произошло на мебельном комбинате, где он работал? Однажды Хамидуллин вошел в котельную, не почистив грязной обуви, и тем самым грубо нарушил установ-

ленный на производстве порядок. По требованию машиниста котельной он вынужден был покинуть помещение. Через несколько дней, будучи пьяным, Хамидуллин неожиданно зашел к машинисту котельной, набросился на него с ножом и, нанеся десять ударов, пытался скрыться. Но был задержан. Искусство, оперативность медиков спасли жизнь пострадавшему машинисту. Но разве зарубцуются душевные раны, полученные им в тот роковой вечер? Забудется ли потрясение, перенесенное родными машиниста, его товарищами по работе?»

— Ну дают! — Максим Максимыч презрительно отмахивается от газеты, разминает новую «беломорину», закуривает.

— Этот Бугор, Колька — самый что ни есть воруга-беспредельщик, а в котельной тогда учетчица стояла, он при ней Хамидуллина козлом вонючим назвал. А Игорек Хамидуллин и в первый раз пьяным был. И что? Хороший был парень, только Бугор его застращал — он ему за вином и бегал. Бугра давно б надо было опустить, на зоне небось так не распоясывался. А Игорек теперь — ку-ку — четырнадцать особого... А ты — герой! Герой...

Максимыч в сердцах бросает недокуренную папиросу в пепельницу, встает, идет к двери.

— Нарушил установленный порядок... В котельную по жердочке хрен пройдешь, поняла? — почему-то орет он на старуху, но, тут же смягчившись, добавляет: — Ладно, пойду поливать, все равно их не дождешься — вот когда жрать...

Он выходит.

Антонина Павловна убирает посуду, думает. Думает она, как поделится новостью с соседкой. Новость, правда сказать, вполне обычная, но вот что по первой программе...

Максим Максимыч поливает картошку. Дождей нет давно, земля слежалась, стала как шлак. Он ругает землю, солнце, картошку — в рот, в дышло, под хвост! — а в перерывах, у колодца, изумленно повторяет: «Забудется ли потрясение, перенесенное родными машиниста, его товарищами по работе?»

— Нет, не было и не будет у него родных — у суки лагерной!

Наливает ведерную лейку и, согнувшись, несет в огород.

ЧЕРТОВА НЕВЕСТА

В том, что Александра Константиновна Заикина ведьма, нет ни у кого сомнения в слободке. Окна всегда занавешены — раз, забор и ворота глухие — два, телевизора не держит — три, черная кошка, пестрые куры — четыре. И главное — уезжает Александра Константиновна на два зимних месяца к внукам в Ленинград, запирает двор на два запора. Никто, заметьте, к ней не ходит, живность не кормит, а по весне хоть бы что — все живы-здоровы!

— И гордая, кривобочка! Я ее просила раз кровь заговорить, чтоб у Лешеньки моего чирьи прошли, так она в глаза посмеялась, — жалуется Танька Солодкова, заикинская соседка и ближайшая в былые времена ее подружка.

— Чего с ней взять, со стервы кривой, я б у нее и воды стакан не попросила.

— Нет, бабы, я знаю, она мне раньше заговаривала, пока с чертями не познакомилась,— уверяет Танька.

Про чертей Заикиных все знают.

Раньше, году в сорок седьмом-восьмом, Танька и Шурка дружили. Танька — я-те-дам была, а Шурка Заикина с детства кривобокая, грузная, Таньке не соперница — потому и вместе. На работе вместе — вечерами порознь. Танька гуляла с замполитом — Шурка утрами слушала, вздыхала про себя, но Таньке не завидовала. Танька — красавица, Шурка — недоделок,— каждому свое, так ее мама-покойница с детства воспитывала. Танька, к примеру, подавальщица в офицерской столовой, Шурка — посудомойка. А замполит красивый был мужик — сапоги на подковочках, блестят, ремни от португалии коричневые. Холостой. Хохотун. И с Шуркой добрый — Шурка же их с Танькой к себе на сеновал пускала, жалко, что ли, дом пустой стоит.

И вот случилось же раз такое. Легла Шурка ночью, а дверь в избу закрыть забыла. Лежит, свет выключила, не спится ей. Танькины рассказы вспоминает. Какой тут сон. Мечтает Шурка. И вдруг слышит — легонько так: цок-цок-цок — вроде ходит кто-то в сенях. Одеяло на голову натянула. А дверь в дом сама и отворилась. И закрылась сама. Шурка в щелочку глядит — нет никого. Как вдруг — черный такой, пахучий, скрипучий, из угла к кровати шмыг — руки под одеяло запустил.

— Т-ш-ш-ш,— шипит.

— Ты кто? — сказала и замерла.

А он:

— Черт!

И вовсе язык Шурка проглотила. А он навалился, подмял Шурку, щетиной колет, шепчет:
— Не бойся, я черт не страшный, кого люблю — озолотить могу.

И правда озолотил! А после исчез, как — Шурка и не заметила.

Утром маялась, ругала себя, знала же — не бывает чертей, а... как вспомнит, как он копытцами цокал... Ух, страшно же, ух, до чего же сладко вспоминать!

Промолчала в тот день — Таньке ни словечка. А ночью специально уже дверь не закрыла, только придумала хитрость — лампочку под кровать поставила. Как Он придет — включит, хоть посмотреть на него.

Ждала-гадала: придет — не придет. Не пришел. Пришел через два дня. Процокал. Шурка молчит, будто спит, а сама руку на выключателе держит. Он ее спрашивает: «Спишь?» А Шурка на кнопку — чик! И не загорелось — от испуга лампа только под кроватью упала. А он забулькал даже: «О-хо-хо, черта видеть нельзя. Я свет одним своим присутствием отключаю». И опять на нее навалился. Бешеный!

Лампочка Шурку убедила. Утром все Таньке рассказала, а та — хохотать: «Тебе надо, Шурка, мужика раздобыть, а то совсем рехнешься. Хочешь, сведу, есть один на примете — неказист, но в дело годится».

— Нет, Танька, правда черт — свет от его присутствия тухнет.

— Ну тебя, дура, напридумаешь.

Про чертей Таньке неохота слушать — у нее замполит забыт, теперь цыган с деньгами появился. А Шурка обиделась, нагубила

Таньке. И рассорились. Навеки. «Дура криво-бокая, бочка заклепанная», — это еще из самых мягких словечек, что на Шурку высыпались.

Шурка замкнулась. Ей теперь Танька ни к чему. Ей теперь день промечтать, а ночью он приходит. Как в сенах зацокает — свет сам и выключается, и он входит. Ласковый стал.

Ну ладно — черт так черт, но не хорошо же. Стала думать. И чем больше думала — тем страшнее. Стала припоминать, что мать про чертей рассказывала — ужас один. А он ей похвально, как над землей летает, а ночью к ней, к Шурке.

— Ты ж, Шурка, ведьма. Присушила меня совсем.

Шурке и радостно. А утром — страшно. Не вытерпела, в воскресенье пошла к попу. Поп старгородский, батюшка Амвросий, слушал ее невнимательно. Видно было — не верил. Надоело ему такие сказки слушать. Амвросий иподьяконом у митрополита ходил. Большие были надежды. А как умер митрополит — его сюда, в Старгород захнули. Вот и конец карьеры — читай книжки, исповедовай старух да дурочек. Наложил епитрахиль, отпустил грехи. Наказал сто поклонов бить, читать на сон грядущий Отче наш и Богородицу. Шурка и тут обиделась. Не того ждала.

В церковь ходить перестала. Но ждет. Как ночь — ждет. Слышит — шуршит крапива: он. По огороду идет.

— По улице, Шурка, нельзя мне: вдруг кто увидит — онемеет.

— А я почему не немею?

— Ты у меня другое дело...

И такого нарасскажет — голова кругом!

Месяца три прошло. Стала Шурка за собой замечать неладное. Пошла к старухе — та поглядела:

— Да ты, дева, беременная. От кого нагуляла?

— От черта.

— Я тебе дам, паскудница, в моем доме не грехи. Признавайся как есть.

Призналась. Все рассказала. Бабка не верит, но на всякий случай дала ей иконку с Никитой-бесогоном и святой воды.

— Как придет — окропи, если человек — женится, а если и вправду...

— Что, бабушка?

— Не знаю, не знаю — иди...

Ночью побоялась сперва его окропить, но все рассказала. Он и хохотать: «Мне это не страшно!» Сам и виноват. Она его потихоньку и окропила.

А утром проснулась — пошла в сени, глядит, а под счетчиком пробка вывернутая валяется. Ввернула на место. Задумалась.

Ночью дверь открыла — не пришел. И на второй день. И на третий.

Вода ли святая, иконка ли, или ему и вправду не страшно это, кто знает, — не пришел больше.

Шурка родила. А по слободке слухок — приставали к ней, но Шурка молчит. Бабы не верят — стыдят, а она на своем — черт приходил! Не верили, не верили — поверили! А Шурку как подменили — одичала. Здраваться перестала. Из офицерской столовой перешла в ПТУ работать. А столовую офицерскую скоро закрыли, аэродром военный ликвидировали — отдали поле городу, а военных перевели на Мотовиху.

Дальше — больше. Завела Шурка Заикина себе черную кошку, кур рябых. Сына вырастила бирюком истинным. С детских лет ребяташек сторонился — все вокруг мамки, да по дому, да в огороде, а в школе — одни пятерки! А как кончил школу, поступил в Ленинградский кораблестроительный. Теперь там уже начальником. Приезжает к матери на черной «Волге». С деревенскими не здоровается. И жена у него — то ли еврейка, то ли француженка. А в церкви староста говорила, что Антихрист из французов будет — такую книгу ученые в Палестине раскопали, там все сказано.

Сидит Александра Константиновна все больше дома. По огороду ковыляет, чай пьет. Танька говорит, что у нее в теплице и огурцы и помидоры раньше всех в слободке поспевают.

— А чтоб дать другим — жалко. Да и брать-то боязно ведьминские, ни за что б не взяла.

— Нет,— признается Танька,— я брала — не получается, они у нее заговоренные.

— А как же, конечно заговоренные.

Сидит Заикина на кухне, пьет чай с пряниками, а ребяташки ей на ворота железяк, подков набивают. Сын приедет из Питера — поснимает, а сама ни за что. Гордая хромоножка — пенсия с гулькин хвост, на базаре торгует — все чаи попивает да в огороде с боку на бок, с боку на бок переваливается.

— Заикин-то, Заикин, банками варенье возит!

— И откуда у нее столько сахара — одна ж ведьма?

— Как откуда? Начальник — значит ворует, известное дело.

ПЕТРУШКА

— Петрушка, пиво завезли?

— Хгы-ы-ы...— скалит зубы, губы тянет, силится сказать, но не идут слова.— Сколько тыщ насчитал? — Хгы-ы...

Всем известно, что Петрушка деньги считает. Не раз ловили его — сидит, на бумаге тысячи складывает.

— Петрушка, зачем тебе столько? — Хгы-ы-ы...— рукой загребают — к себе, к себе.

Сидит в подсобке магазина, глядит на актрису Немоляеву — загибает пальцы. Бормочет.

— Гляди, миллионером станешь!

Радостно мотает головой.

Почему Олежек такого в помощники взял? А кто б другой к нему из слободки пошел? Петрушка-дурачок — пошел.

Вечерами строит Олежек дом. Домину. В два этажа, с гаражом подземным, кирпич желтый, камин. Участок отгородил решеткой

сварной. А первым делом собрал теплицу. Катер завез на участок. «Уазик».

На стройке — Олежек, жена, брат жены двоюродный и Петрушка — подай-принеси. Детей у Олежки нет. Олежек катает клюкву в сахарной пудре. Не сам, конечно, сам по начальству ездит да в сезон по деревням.

— Олежек? Да он «Камазами» вывозит!

Все это знают. Так они и строят все лето. Все субботы. Все воскресенья. Уже крышу покрыли, начали класть паркет.

— Паркет? У него камин, знаешь, какой! Степаныч из ПМК-2 за пять сотен клал.

— А говорят, он ссуду в горбанке в двадцать пять тысяч брал.— Двадцать пять? Давай посчитаем: кирпич желтый — поддон...

— Хгы-ы-ы — хгы-ы-ы...— Петрушка тут как тут. Вяжется к мужикам. Но его слегка так отмахнули. Отлежался. Встал и пошел. Ему не привыкать. Идет — кровь утирает из носа и тут даже бормочет — считает? Всего верней, что считает.

Ночью, под понедельник, загорелся Олежкин дом. Хозяин приехал после пожарных — на остов поглядеть. Он ведь в городе живет у жены, здесь на окраине, на Озере, они себе дачу задумали зимнюю. Еле Олежку бабы удержали — все б себе волосы выдрал. Жалко — погорелец!

На другом конце слободки, в своем доме Петрушка лежит на диване. Как мать умерла, он на ее диван перебрался — кровать ведь совсем разваливается. Лежит, нюхает руки — не пахнут ли керосином? Понюхает — и хохочет, хгыкает, и уж плачет, давится даже слезой. Кому-то пальцем отмытым грозит. И ногой в подушку диванную притоптывает.

ЧУВСТВО ЮМОРА

Знаешь, где ты мог меня видеть? В «Стрелецкой избе» — я в семьдесят девятом там с Лушкой в баре работал. Потом в «Копторге» и в «Заготскоте» коньячку попил, но вовремя деру дал — тамошние ребята плохо кончают: нашему брату шальная денежка — верная смерть. Серегу Костюрина ты не знал? Тридцать девять лет парню, а почки, как у Андропова — в Ленинграде на аппарате полежал, и без толку: в землю не что зарывали — Серега у нас другой был.

Потому что — дармовщинка. Сколько же пить можно, ведь как из крана водопроводного льется, а нервы? Ты мне можешь возразить, что у иных и от бээфа не склеивается, и от динатурата глазки не зарастают, но тут не в напитке дело, не в количестве даже, а в запасе прочности. Вот пьет человек, чтоб боль заглушить, про него

говорят — глушит, и точит его Змей Горыныч, но медленно. Знаешь, на сколько качков наше сердце рассчитано? Там одних нулей мне забором дом огородить хватит. А печень? В лабораторных условиях она даже антикумарин выдерживает. О чем это говорит? О том, что есть в нас и иной запас прочности, и без чувства юмора тут нельзя никак. А если со звериной серьезностью, если за ради денег только — не выдержать — жилка лопнет.

По себе знаю. Татьяна, моя баба, недалекая, но добрая — все мне позволила перепробовать. А почему? А потому что уразумела — интересно мне все своими руками пощупать. Но только пощупать — к ним, видишь, не липнет. Я за ночь, случилось, в Питере по три тысячи палил, а тогда семга сколько стоила — не чета нынешней. Но нагляделся до тошноты, коньяк мне поперек горла встал. И в сердце шум, и ливера сразу зашевелились, а как одумался — сразу отпустило. А Сережка сломался. Как уж я его из «Заготскота» тянул — ни в какую: «Не могу, Олежек, отвык жить с рублем в кармане, да и Светка не поймет».

Вот и сгорел. А думаешь, с радостью он ее пил? Как упырь тянул, со стоном душевным, а ведь водочка нам на радость гонится. Да и сколько себя подстегивать можно, не без конца же? Все прежние мои друзья на раскумаре живут, а как скука нападает — туши свет! Скука, брат, страшнее ее не придумаешь, и, главное, лезет в голову, лезет — не убежать и не залить ее. Вот я мог за ящик «Пепси» тысячу рублей отвалить, представляешь? Было раз, гуляли ночью, а запить нечем оказалось. Поехали. Буфетчика искали. Будили. Это

ж и есть раскумар, а что потом это «Пепси» и не пил никто — не в том дело. А дальше? Ставки повышать? По сорок восемь часов из-за стола не вставая в очко шлепать? Но ведь проспишься — тоска, тоска, хоть вой! И так не один день, не два, не три и не месяц. И, главное, все, все кругом одно и то же. А я так не могу — от кого-то зависеть, за кого-то дрожать, надоело — пускай я без денег, но свободен как птичка в полете, такая жизнь только по молодости и возможна. А может, я и не прав, а?

Не знаю, не знаю, у меня лично завод кончился. А если кончился — надо бежать. Просто не смешно стало. А без смеха я не могу — без смеха кто живет: филин да крестьянин, да и то, приведись им друг друга повстречать, наверняка б животики пообтрясли, рожа-то на рожу глядячи, верно?

Вот я что и говорю — чувство юмора главное; оно меня одно и спасало. Я потому легко живу, что смешно мне, а если скука нападет, не отчаиваюсь, главное — резко обстановку сменить, и снова — вот он я, туточки. Я же знаю, никто за тебя не решит, я с детства сам за себя, а другие... другие тоже так, только никому в этом признаться неохота. Но смех смехом, а сбежал. По-глупому, на чей-то взгляд, ни копейки за душой не осталось, но звоночек мне был, я его и послушался.

У Сереги почки, у меня — спина. Да как! Сначала болело легонько, я в бане отмокал, но не в бегемота же превращаться. Поприжало. Побежал к Лушкиной матери, к ведьмице нашей. Спину гладила, травы давала на компрессы, шептала-бормотала —

поначалу оттягивало, а после — хоть волком вой. Это, говорит она, душа у тебя скрежещет, надо от денег неправедных уходить, они на людей только порчу нагоняют. Что ж, спрашиваю, старая, ты свою Лушку из ресторана не выгонишь, коли так деньги вредны? Она обиделась, перестала лечить. И вовремя, совсем бы в гроб меня вогнала. Может, Лушку она и выходила, когда в ней жигулевский карданный вал побывал, ведь все уже врачи отступились, а мне не помощница. Но чую, давно чуял — не в деньгах мое счастье.

Бросил пить — болит. Из «Заготскота» ушел — полегчало немного, но потом так сжало — до ветру не сходить. Об орлом пристроиться не моги и думать, хребет как лом чугуновый — не гнется и горит, как если б у меня из спины Чингачгуки ремень вырезали. Я в банке инкассатором на «уазике» начал ездить, а по нашим дорогам с такой спиной... Никакие пуховые платки, никакие подушки гагачьи не спасают. Пекло натуральное — сидишь на расплавленном олове, а за воротник тебе масло кипящее льют. Домой приходишь — не пикни — перед Татьяной неудобно. И такие невестельные мысли стали меня посещать — кумекаю: погулял Олег Петрович по буфету. Но Татьяна молодец — глядела, глядела и в ЦРБ сволокла, я ж долго отбивался, знаю эти больницы, где что таблетка, что клизма — одна на всю палату.

Ладно. Положили меня на койку, укутали одеяльцем. Справа — астматик, слева — ревматик, у стенки одной язвенник, как мумия сушенная, у стены другой два паралитика —

инсультники — у тех свои разговоры, и я, подагрик, посредине — обхохочешься, словом. У тебя, Олежек, королевская болезнь, как мне доктор Вдовин заявил. А после осмотра спина болит, так я не стесняясь отправил его в Хренландию эскимосам бачки подбривать да пингвинам эскимо из моржихинового вымени раздраживать, он и вышел не попрощавшись.

Дела такие: кричи караул — не услышат. Паралитики — писаются, язвенник, как колода, молчит да все язык перед зеркалом разглядывает, астматик дышит так, словно в любую минуту папу навестить отправится. Только на деда слева надежда, вроде с юмором — услышал, как я Вдовина отбрил, захихикал, смотрю, глазенки так и забегали. Ага, смекаю, хоть ты мне тут сгнуть не дашь, а спина расходитя, расшевелил ее змей своими пальцами.

Деду скучно, а меня, как новенького, еще стесняется, начал правого моего соседа обрабатывать: «Чего пыхтишь, Семеныч, подыхать собрался?» А тот как карп на берегу — сопит, а ответить не может — астма. Ну, Митрюничев, так у деда фамилия, не отстаёт: «Семеныч, а Семеныч, нехорошая, брат, тебе койка досталась — на ней больше двух суток не живут, поверь мне».

Смотрю — астматик аж закатился, на лай перешел. Пришлось Митрюничеву тапком в лоб засветить — мигом исчез.

Через четверть часа, гляжу, топает — чай Семенычу несет: не со зла же, конечно, пристаивал, со скуки. Отпоил, отходил, подушку ему взбил — разговорились. А у этих одна песня — кто где воевал? Выяснилось — оба Будапешт брали. Тут у них такой гвалт пошел:

руками замахали, обниматься лезут, словом, идет все к бутылке. И точно, через пять минут Семеныч мне и говорит: «Олежек, помоги, обмыть нам это дело надо», — вмиг его Митрюничев обработал. Я что — дедкам одна радость осталась, а Семеныч как дембельская пряжка, вся астма разом схлынула — достает из тумбочки кошелек, выдает мне красненькую (у Митрюничева, естественно, карман пустой — денег там и впомяне не водилось). Позвонил я знакомому мужику, заказал — на этот счет связи старые работают как часы, — отдал моим ветеранам. Сам не пью.

Они ее разом приговорили. Дед Митрюничев на вид только хлипкий, на деле — бывший штрафбатовец; бутылку штопором завертит — в шесть секунд на спор вливает, сам видел, а тут два бывалых сошлись. Отбой скомандовали, ночник запалили, а Семенычу захорошело, глазки заблестели, привстал даже: «Мужики! Мужики, что я их слушал, давно б надо было, хорошо мне — дышится!» И весь как первоклассница светится, и руками подушку держит, лицо ею гладит, слезы промокает — давно, верно, так легко ему не было.

Вот так с час поблаженствовал, а потом сосуды сжались, видно, и приняло его крутить: и лежать не ложится, и сидеть не сидится — мелко-мелко дышит и так: «Надя-Надя-Наденька» — приговаривает — сестру зовет. Я только поднимусь: «Семеныч, сходить?», а Митрюничев со своей койки как шикнет: «Сдохни, старый черт, но не выдавай, сдохни скорее». Ну, Семеныч и отказывается — кремень.

Через какое-то время встал, походил не-

много, сел на мою койку, привалился к спинке и опять как в забытьи: «Надя-Надя-Наденька». А Митрюничев снова свое: «Сдохни, гад, скорее, куда тебе — отбродил, сдохни, но молчи!» Гляжу, у Семеныча зрачки от страха широкие-широкие, но за сестрой идти мне не дает. Чуть отпустило его, он и взмолился: «Оленька, можно, я на тебе полежу, мне если под грудь валик твердый — помогает». Что говорить. Примостился поперек — тяжелый, черт, а у меня в спину вступило, но терпеть можно — лежим. Семеныч опять пыхтеть, но по-другому — теперь вдохнет, а выдохнуть не может, как давится. Подергался, подергался минут с десять, начал вставать и на бок, и на пол — бряк!

Митрюничев вскочил, глаза ему закрыл, руки на груди сложил: «Все,— говорит,— отъездился. Иди зови санитаров!», и бегом в уборную — курить. Я сразу поверил — он, думаю, мертвяков нагляделся. И точно, потом такого мне рассказывал — он, как я, к примеру, смерть уже и не воспринимает.

На пост, конечно, я ходил — Митрюничев побоялся, что запах учуют. И до морга мы с Надеждой Семеныча тащили на носилках — пойдешь ночью дежурных дозовись.

Утром за завтраком замечаю, что Митрюничев свое яйцо в карман заныкал и за Семенычевым тянется. Ладно, думаю, пусть поотъестся, но дед другое задумал.

В двенадцать входит в палату Вдовин и прямо к нашим кроватям. А дед приготовился — сел на корточки на матрасе, одеялом накинулся и тихонечко так прикудывает. Вдовину не привыкать к его фортелям,

с разгону рубит: «Митрюничев! Пил с покойником? Пил! Ну и хватит, собирай монатки и кати в свою деревню!» — впамял приговор. А дед не слышит будто, в одну точку уставился и все бубнит: «Сейчас, сейчас, Сергей Сергеевич, голубчик, обязательно, только вот яичко снесу». Вдовин не стерпел, прыснул в кулак, а деду того и надо — забился, заорал — натурально несущка, и достает из-под себя яичко, а лицо такое невинное-невинное.

— Сергей Сергеевич, пошлите в Академию наук на анализ, чесслово, не знаю, что со мной приключилось, второй день несусь, вот Олежек не даст соврать,— и такую рожицу скорчил, Вдовин уже от души в хохот.

Яичко взял, в руках вертит, а дед опять зашелся и между охами и квохтаньем как сквозь зубы выговаривает: «Сергей Сергеевич, дорогой, голубчик, спасите ради Христа, что же это со мной такое, а? Ведь как начнется — не остановишь. Ой, а-а-а-а...» И опять достает, еще одно, тепленькое. И так натурально изображает: напыжился, головой поводит, глаза закатывает — цирка не нужно. Но Вдовина не проведешь:

— За яйца, Митрюничев, спасибо, а вещи собирай, загостился ты у нас. Ну скажи честно, зачем вчера водку пил?

Но Митрюничев — калач тертый, свою линию гнет: «Ой, ой, голубчик, Сергей Сергеевич, опять лезет, ой, умру, не верите, пощупайте сами!» Рукой за руку хирурга тянет, и такая в глазах мольба. Вдовин, конечно, не дурак — сунул руку под одеяло, видно, щипануть клоуна хотел, да тот оказался проворней — поднатужился, да как грохнет! Вся палата в рев!

Язвенник чуть с койки не съехал, а парализики наши так одним голоском тянут: «И-и-и!» Вдовин на секунду опешил, затем выматерился — и деру.

На следующий день пришел как ни в чем не бывало — простил деда. Сел на табуретку, рассказал, что Семенычу все равно жить два-три дня оставалось, запас прочности у него давно вышел, чудом одним жил — вместо легких одни тряпочки, выходит, водка ему только мучения сократила. Но Митрюничева пообещал в другой раз отловить и выгнать обязательно — хоть ты, мол, золотые яички носи.

Дед мой приободрился, заходил по палате петухом. «Он,— говорит,— так каждый раз страшает, но не гонит, знает мое положение». Полдня гордился, а к вечеру скис. Сердце заболело — Семеныча вспомнил. Повис у меня на плече: «Олежек, Олеженька, ты говоришь жить, жить, а что я в жизни видел? Я дальше Старгорода только в войну и путешествовал»,— расхныкался. И все мне рассказывает, как ребенок, про свое детство, а я сам сирота — меня голодом удивить, что ли? Я его на руки и в ванну — помыл, отвлек и в койку. Только на тело его смотреть страшно было — сплошные дырки. Я, значит, охаю — дед оживает — герой он супротив меня! Врешь, говорю, дед, ведь из штрафбата после первой крови списывали. А он мне: «Да? Два! Выкуси! Пять раз из тыловых госпиталей направляли».

Не знаю, где он врал, где правду говорил, но места живого на теле нет — это точно.

Заодно с ним и я вымылся. Лежим мы ночью — хорошо, сна ни в одном глазу —

целый же день подушку давишь, дед и признался мне, что симулирует.

— Как тебе, Олеженька, вернее сказать? Вечерами такая вдруг скука давит — лезет и лезет, прямо как в окошко заползает. Покойники стали сниться — раньше я на них спал, в окопах с устатку и не замечал их, а теперь мстят, беседы заводят, а что говорят — непонятно. Зовут, наверное. Но хрена я им дался — не такое видал. Порой, правда, кажется, что умом тронулся, но нет — вроде соображаю. Это на войне я бешеный был, а теперь тихий. Вот я зимой в больницу от них и сбегая. Болезней целый набор, о них только времени думать не было, а теперь пороюсь, пороюсь, выну козырек из колоды, хлоп Вдовину на стол — ему отступать некуда — ветеран войны, инвалид: ревмокардит страшный, гипертония опять же — он кладет. Месяца по три здесь лежу. Лечить тут не лечат, зато хоть кормят три раза в день — уже хорошо. Вдовин мужик добрый, это не Панкратов. Вдовин если чего не понимает — разрежет, покопается для проформы и зашьет — хуже не сделает, а Панкратов — сущий фашист: тот опыты ставит, знаешь, сколько людей на тот свет отправил ради своей диссертации? То-то!

Смешной, словом, дед. Мы с ним сдружились. Как он киснуть, я его гонять. У нас тем временем один из паралитиков загнулся, и язвенник после операции панкратовской дуба дал, не в палате, правда, в реанимации, но мы узнали — все не легче. Новых привезли, но мы с дедкой с ними не особо, так друг за дружку держались. Днем делать нечего, вот он и пристал ко мне с картами — играем. Со скуки

деру я его, конечно. Потихоньку-полегоньку всю одежонку его выиграл, все ордена, медали — он же в больницу как на парад выряжается. Гляжу, дед опять приожил — глаза снуют по сторонам, азарт в нем разгорелся, а играть больше не на что. Ага. Ходил-ходил, и так, и эдак, а я вроде сплю — на деле-то у меня спина ноет. Вот он не стерпел, присаживается: «Что, Олеженька, болит?»

— Иди, иди,— отвечаю,— по вторникам не подаю.

Он понял, что лаской не взять, давай в нахалку: «Отдай-ка мне, сынок, пиджак — надо мне в город сходить».

— Какой такой пиджак?

— Да вот же он, Олеженька.

— А ты, дед, не забыл, что он теперь мой? Я его сейчас изрежу на подкладку для спины — болит же, зараза.

— Ты что? Ты что? А медали куда денешь?

— В Ленинград сведу, на водку сменяю.

— Ай-яй-яй! — Головой крутит, вздыхает как лошадь.— А может, отдашь?

— Нет, дед, крепись, такая тебе судьба — проигрывать не надо было.

— Ну, может, придумаешь что?

А уже вся палата подключилась, ждут, как он выкрутится, но дед всерьез переживает — не видит, не слышит, представил себе пиджак распоротым. Жалко его, но знаю: отдашь так просто — ему без удовольствия будет, может даже и обидеться. Я и придумал.

— Дед, а дед, сможешь зад голый выставить и частушку спеть?

— За пиджак?

— За пиджак.

- И за ордена?
- Много хочешь, дед.
- Так я могу вообще голиком.
- Это ж не баня, дед. Ладно, давай — валяй за пиджак и ордена.

Ох, он обрадовался, скорей, пока я не передумал, штаны спустил, выставился в коридор из дверей да как заорет частушки — у нас в палате едва лампочки из патронов не повыскакивали. Вестимо, Надежда прибежала, пригрозила высылкой, но видно было — у самой скулы от смеха сводит. А дед опять в герои попал.

Забрал свой пиджак, брюки (между делом так — о них речь ведь не шла), залез на кровать, медальки перебирает, но не надевает — смакует. Посидел-посидел, а потом как шмякнет костюм оземь, в подушку уткнулся и захлюпал. Я его за плечи оттягивать: «Дед, ты что, прости, я ж обидеть не хотел». А он, представляешь, глядит на меня и сквозь слезы давится: «Дурень ты, Олежка, как есть дурень. Какая обида, теперь ты меня позабудешь — ни за что ко мне в деревню не приедешь». У меня, веришь, дух захватило, как дошло.

— Ах ты, старый хрен, симулянт голожопый! — потискал его немного, повалил на кровати, ну и пообещал, поклялся даже заехать.

А скоро и вправду Танька меня из больницы утащила, кой черт там лежать — таблетки можно и дома пить. Повезла меня к костоправу аж в Таганрог. Тот меня и вылечил без всяких там лекарств и примочек, но знал бы я заранее, ни за что б не поехал — гестаповский застежок, а не лечение. Вот где я деда вспомнил. Он же рассказывал — умирают те,

кто устал, а кто пожить еще мечтает да за жизнь зубами держится — выживет. По пять раз на дню там эту его присказку твердил.

Вот представь: здоровенный верзила метра в два, ручищи соответственные, кулаки, что два булыжника. Кладет он тебя на живот, проводит пальцем по хребтине, а затем ка-ак жажнет ладонью — только хруст и боль адова! Я ору до соплей, а он, гад, прихохатывает: «Кричи, кричи, ругайся, мне так даже легче — понятней что к чему». И снова — хрясь! Я с катушек. Очнулся — не встать, а были б силы, зубами б ему палец откусил — руки-ноги отнялись.

Но ничего. В гостинице оклемался. В ванне полежал. И, знаешь, легче, легче! Чувствую — впервые за все время спина гнуться стала. Через два дня сам пришел на повторный прием, в другой уже кабинет. А там все просто. Ты про дыбу читал? Так представь — меня в одних трусиках привязывают к колесу, и этот громила чертов спокойненько так начинает мои ноги к затылку подтягивать. Простился я с косточками, с землей, с женой, заорал — и в обморок, а как вынырнул, как отлежался, знаешь... снова человеком стал. Цветы ему носил — благодарил, а он только посмеивается — знает свое дело.

Приехали мы домой, и я опять за свой «уазик». И очень даже хорошо — по любой дороге теперь без подушек справляюсь. И не жалею ни капельки, что из «Заготскота» ушел — за год, что проболел, корешков власть так застращала, что сидят аки тени бледные. Я их посмешил — мне мяса отпустили, а о большем и мечтать не надо — опять, выходит, я в выигрыше.

И к дедке Митрюничеву съездил. У околицы уже мигалку врубил, у меня ж инкассация — спецмашина — подвалил к крыльцу. Дед выбежал, суетится, причитает — радости полные штаны. Я ему бутылочку привез — посидели, выпили. Так представляешь, он все меня за руку держал, отпускать не хотел. Чудной старик, ей-богу, ну куда я денусь, если уж приехал?

Дело у него завертелось — грибы нам, ягоды собирал, а деньги предложил — надулся, как мышь на крупу. Ну, я быстро его в чувство вернул, вспомнил только, как он частушки в больнице пел, — он опять как новый пятак. А перед отъездом упросил, чтоб на «уазике» я его к магазину подвез. Между делом так сказал, но я смекнул — неспроста, спроста Митрюничев ничего не делает.

Ну, мне сложно ли — подвез. У магазина вылез, мигнул мне так многозначительно — народ же кругом, все смотрят — и в магазин, вроде надо ему. Циркач, одно слово.

Сейчас, прежде чем Вдовину на зиму сдаваться, он к нам на постой наезжает, а в сентябре мы с Татьяной налетаем — у них грибов, ягод — косой коси. Особенно клюквы там много. Вот я и задумал — с ребятами мы пошентались, — если выгорит, откроем кооператив, а деда заготовителем утвердим, ему не привыкать — не в колхозе ж ему горбатиться. Нет, Митрюничев не такой!

Ты скажешь: Олежек, опять на деньги потянуло? Нет. Тут другой коленкор. Во-первых, дело свое, — если честно, мне с чужой кассой разъезжать уже поднадоело, во-вторых, надо и о старости подумать. Скоплю денжат, по-

строю в Поозерье домик, а на большее не претендую, мне только важно, чтоб свой, чтоб никто туда нос не мог сунуть. Верно? Вот так, смех смехом, а глядишь, дело и выгорит — клюква теперь в хорошей цене.

Ну, а в деревне дедовой, вот уж где смех! Как приеду, смотрю, на машину с мигалкой все косятся как на оперуполномоченного. Мне-то на них накласть с прибором, но знаю — дед присочинил, чтоб больше его боялись. Его в деревне не любят: он же как я — сам себе голова,— вот он и посмеивается над ними да в потолок поплеывает. А мне ради него не жалко — пусть живет, у некоторых, говорят, к старости как второе дыхание на жизнь открывается, тогда и скука не страшна. А поглядеть — сморчок сморчком, но циркач, циркач прирожденный, ей-богу. Главное ведь чувство юмора не терять, точно я говорю, а?

ЛУШКИНА ГОРКА

— Тело покрыто пленкой защитного цвета, а под ней провода передающей антенны...

— Да ну тебя, Катька!

— Нет, девочки, точно говорю. А как его в грузовик стали затаскивать, из пулевых ранений потекло — остались только комочки, как студень, да волосы зеленые. Их в цинк запаяли — и в Москву.

— А что, может, и правда, в Америке давно гуманоидов на льду держат, а журналист, что про них раскопал, пропал бесследно.

— Ясное дело — убрали без свидетелей, чтоб нос не совал куда не следует.

Хлопает дверь — это Нинка из продуктового.

— Девочки, девочки, делайте заказы — к нам сметану завезли, кому оставить?

Заказы делают, естественно, все.

— А как там мой вопросик? Не сдавали? Ну, Лукерья Ивановна, ты постарайся, попомни обо мне, Андрюха рыбки обещался привезти — я тебя не забуду.

Нинка убегает, Катя и Светка возобновляют вдруг всплывший в памяти спор.

— А я говорю, осетины больше головой дерутся — вон хоть Лукерью Ивановну спроси.

— Лукерья Ивановна, а Лукерья Ивановна, Асланчик твой не рассказывал?

— Да идите вы, девки...

— Ты, Катя, Лукерью Ивановну не тронь, она теперь специалист по хохломе...

И так целый день. Привычно. Беззлобно. Язык только к вечеру устаёт. И ноги. Но с ресторано́м не сравнить — там ты и в мыле, и в оцепении, здесь же только голова иногда прибалывает. Но от головы — тройчатка, Вдовин из больницы достаёт. Не за просто так, конечно, первая куртка кожаная ему пошла.

Комиссионный — не ресторан, не буфетная стойка, но с умом и здесь выжить можно. И сорок пять — не семнадцать, не так много и надо. А все же. На станции техобслуживания — за жестянку и покраску, в ГАИ — Терехину — замять дело... Витенька, сукин сын, разбил-таки «Жигуленок»... Перебирая в памяти дела, Лушка вспоминает своего Витеньку. Вспоминает и уже улыбается. Уже потягивается за прилавком. Хотя вроде бы и улыбаться нечему — Валькины слова не идут из головы. Но такова уж Лушка — одно другому не помеха.

— Я, девочки, что скажу: Аслана мне никто не заменит, но на безрыбье и Витенька золотце, без него хуже, не так ли, девоньки?

Катя и Светка понимающе улыбаются: мужья и дети — приличный груз, не разгуляешься, им остаются одни улыбочки, смешочки-анекдотики да мечты-воспоминания, как там в молодости было. В магазине тихо — день, покупателей нет. Лушка потягивается уже вызывающе, делает непристойный жест рукой — девки прыскают в кулачок. Но не завистливо, не злобно — разве на Лушку озлишься?

Кассирша Терентьева — бабушка перед пенсией, отрывается от кассы, вздыхает: «Ох, Лушенька-душенька, скворечня ты ненасытная, ты когда, наконец, угомонишься?»

Вопрос повисает в воздухе. Сахарная тишина держится немного и опять нарушается — приступают к обсуждению детского кооперативного костюмчика с «Томом и Джерри». Костюмчик один, а заявку подали трое: комбинат бытовых услуг, пекарня и орсовская столовая. Пекарня одерживает верх — дело к Троице, а дрожжи у всех на пределе.

Лушка выпадает из общего разговора, ей надо все обдумать — как ни гони из головы — мысли о Витеньке не покидают. Утром забежала Валька с турбазы и, отведя ее в сторону, рассказала, что вчера Витенька брал лодку и с девчонкой из реставрации ездил кататься на острова. Быстро он, однако...

Лушка отправляется в подсобку готовить на всех обед. Уединяется. Думает. Чистит картошку.

Пятнадцатилетней девчонкой из Поозерья попала она в Старгород. Недоучившись в техникуме, пришла в «Стрелецкую избу», где пять

лет прожила с директором и к двадцати трем из официанток стала заведовать буфетом. Директор успел пробить однокомнатную и сел.

Тут появился Василий Антонович — главный реставрации. Лушка переехала в трехкомнатную, перевезла из деревни мать, купила первую свою машину и сама села за руль — тогда в Старгороде это было в новинку. Василий Антонович с директором Сыромятниковым, что был еще до Жорки Проничева, строили архиерейское подворье и обкомовские дачи. Лушка, оставаясь в «Стрелецкой избе», перетащила из деревни сестру с мужем, поступила племянника в Политехнический. Затем Сыромятников сдал Василия Антоновича — сто двадцать кубов импортного лимонного дерева на музейный паркет, финская плитка, цемент, кирпич, отданный шабашникам экскаватор — набежало обоим на семь лет с конфискацией. Спасло, что не расписаны. Через год на зоне Василий Антонович умер при невыясненных обстоятельствах. Лушке остались бухгалтерские накопления и свобода.

Ей меж тем стукнуло тридцать. Дети не получались. Из ресторанного дыма соткался бывший боксер Стас, крепко пьющий, но лихо играющий на гитаре. Едва отметив годовщину семейного счастья, он исчез. В квартире остались: гитара, долги и вечно бубнящая мать, которую Лушка боялась, но любила. Потом пролетели едва запомнившиеся четверо. Где-то она их находила, приодевала, ставила на ноги; и они исчезали, как Стас, но только заметно быстрее.

Лушка, надо отдать ей должное, перевалив за тридцать, не расползлась, как многие,

сохранила узкие бедра, прямую спину и вожделенную для многих эффектную грудь. Во всем Старгороде не нашлось бы, казалось, большей, из разменявших тридцать, оптимистки. У нее всегда можно было попросить взаймы, она не ленилась ходить после снятия кассы в подвал за ночной водкой, и сам начальник ГАИ — подполковник Терехихин, неизменно раз в год устраивавший в «Стрелецкой избе» гудеж при закрытых дверях, целовал ее при встрече в щечку.

Бесстрашию Лушки мог бы позавидовать любой горец — скандалисты, которых она принимала, обычно под ее напором сникали и убирались восвояси. Редко, но случалось, под горячую руку доставалось и ей, но обидчик навсегда изгонялся из «Стрелецкой избы», и обязательно Лушкины должники отлавливали такового в укромном месте и жестоко чистили ему морду.

Казалось, так будет продолжаться вечно: Лушка заявила подружкам, что отныне выбирать мужиков станет только сама — история с реставрационным главбухом, которого она, кажется, любила, и гитарист Стас, которого она любила несомненно, сделали свое дело: четверо промелькнувших были существами зависимыми, физически выносливыми, да и только.

Но Аслан Джиоев, пламенный осетин с золотыми коронками и иссеченным шрамами лбом, бывший чемпион дивизии по гиревому спорту, смешал все карты. Он был широк, но знал цену деньгам и никогда не сорил ими, как загулявший леспромхозовец. Он мог заплатить за всех. Мог и не платить. Он был напорист, но

обходителен. Он был — железо. Он покори́л Лушку, как шептались девочки-официантки, прямо в подсобке, и она не смогла не уступить.

Он был, конечно, фигура. Король. Аслан не признавал джинсов, английский костюм сидел на нем, как не сидел бы на наследном принце. Деревенские гардеробщицы из «Стрелецкой избы», утомленные повари́хи и независимый директор улыба́лись, едва его завидя. Никто и никогда не видел на его лице презрения. Аслан держал бензоколонку на выезде и автомобильную комиссионку.

Вежливый, внимательный, но несколько отстраненный на людях, не позволявший, из-за горского воспитания, нежностей на виду, дома он был как ребенок, и сыновья почтительность растопила сердце даже старой ведьме, иначе как Асланчик мать его не именовала.

Пять лет счастья и волнений подарил Лушке осетинский принц. Его чечено-осетинская гвардия уверенно прибирала к своим рукам оставшиеся бензоколонки, открыла первые в Старгороде видеозалы и уже подступалась к «Коопторгу» и мебельной фабрике, как темным августовским вечером спешащий в ресторан Аслан был застрелен кабаньей картечью прямо в самом центре города обиженным им где-то цыганом.

Цыгану удалось исчезнуть, а крепко сколоченная империя начала распадаться. Выяснилось, что все держалось на одном человеке, на одном гениальном человеке, застреленном буднично и нахально в самом центре Старгорода около светофора из простой охотничьей двухстволки.

Лушке сообщили о смерти Аслана немедленно — ресторанная жизнь только начиналась, и мужественный осетин не доехал до этой привычной ему жизни каких-то пятисот метров. Лушка держалась стойко. Она проработала смену до конца, хотя директор самолично предложил отвезти ее домой. Лушка отказалась и только потом, сдав кассу, оседлав свой «Жигуленок», отъехала с ресторанной стоянки в сторону недостроенной Асланом, но записанной на ее имя, зимней дачи.

Она разбилась на пятнадцатом километре шоссе Старгород — Ленинград, съезжая с невысокой горки — капот протаранил бетонный столбик ограждения, и машина три раза перекувырнулась в кювете. Дежурная бригада «Скорой помощи» чудом поспела к месту — еще немножко, и Лушка истекла бы кровью. Авария, чудовищная по своей нелепой жестокости, запомнилась старгородцам — долго еще рассказывали, как выцарапывали Лушку из смятых в гармошку «Жигулей». Карданный вал пробил брюшину, но, на удивление оперировавшего Вдовина, не задел ни одного жизненно важного центра. И все же, собрав Лушку, как куклу, врачи были убеждены, что жить она не будет.

Лушка выжила. Мать отпоила ее одной ей известными травами, закрепив за собой окончательно прозвище старгородской ведьмы, и через полгода Лушка уже стояла за прилавком комиссионного, основанного совсем недавно ее Асланом. В ресторан она не вернулась.

Кстати, отследив маршрут ее панического бегства (как сообщалось в отчетах) на дачу,

местные гэбэшники изъяли из тайника солидную сумму денег, но Лушка от них открестилась. Сколько ее ни тягали, она стояла на своем, и засадить ее не смогли.

Понятно, что, оберегая ее память, никто с ней разговоры об Аслане не заводил, но Лушка сама как-то вспомнила его и с тех пор часто вспоминала при случае и без случая. Она ожила и даже купила новую машину, чем совсем поразила умы старгородок и старгородцев. Но только вот зависти к ней как-то никто не испытывал, хотя японский телевизор и видеоманитофон, «Жигуленок» и недостроенная дача — разве это не повод хоть немножечко позлословить, если уж не позавидовать?

Еще через год появился Витенька. Художник, когда-то кончивший Московский архитектурный институт, попав в Старгород, он понемногу спился и дошел до того, что малевал для ГАИ плакаты. Там-то и подобрала его Лукерья Ивановна. Отмыла. Придела. Закодировала у экстрасенса. Пристроила в кооператив расписывать самовары под хохлому.

— Лушка по новому кругу пошла, — с восхищением замечали бывшие ресторанные подружки, качали головами и погружались в воспоминания о ее бурной и открытой всем перепадам жизни. Кончались эти разговоры обыкновенно «Лушкиной горкой» — так, по всеобщему соглашенью, окрестили место аварии, и, можете не сомневаться, лет через сто, когда Старгород проглотит пятнадцатый километр шоссе, окраинный микрорайон так и станет называться «Лушкина горка». Что раз названо, не исчезает скоро.

Тем временем в комиссионном приспело время обеда. Лушка нажарила картошки и так ничего и не надумала. Выловила из банки соленые помидоры, уложила красивой горкой на тарелке, нарезала ломтиками баночную ветчину и, увлекшись украшением стола, забылась и даже что-то мурлычет под нос.

Девочки, навесив табличку «Обед» на двери, пришли в подсобку и раскудахтались, увидев красиво накрытый стол. Терентьева, не удержавшись, стащила помидор и смачно его кусает. Растроганная заботой, не утерпев, она проговаривается: «Луш, а Луш, ты только не обижайся — Валька с турбазы говорит, видела вчера твоего с чертежницей — на острова с ней плавал».

Лушка уже с набитым ртом, давясь горячей картошкой, только отмахивается: «А пусть плавает — никуда не денется, а денется — плакать не стану, другого найдем, правда, девочки?»

Грузные тридцатилетние девочки и Терентьева дружно и залиристо гогочут.

ЖАДНОСТЬ

Неудачливое оно место какое-то, старгородская реставрация. Сколько за последние годы перебывало начальников, а у всех одно — недолго ладится. Потому как пришел Пестерев, сперва большие надежды возлагали, и — на тебе. Что ни говори, а жадность — она на российского человека губительное воздействие оказывает — ведь, казалось, все у тебя, ну что еще надо? Но податлив человек, и, глядишь — сработал дьявольский этот механизм, раз! и смололо. Савватей Иванович Шестокрылов, правобережный предРИК, специально звонил Пестереву:

— Ты, Семен Иванович, зачем помост возводишь?

— А что?

— Нехорошо получается, снял бы в ресторане зал — и красиво, и культурно, и не так заметно — досок по всей области не достать, а ты соткой помост стелить — не жирно?

— Никак нет, Савватей Иванович, не жирно — сын-то у меня один-единственный.

— Ну смотри, я предупредил.

— Так я ж на помост остаток пустил — основную партию тебе на дачу отвез, не помнишь, Савватей Иванович?

— Я все, Пестерев, помню.

Сказал предРИК и трубку бросил. Вроде как обиделся. Но не внял Пестерев, достроил помост около дома. Не помост — помостище — трибуна целая.

Евгения, жена Пестерева, мужа отговаривать — так чуть не зашиб по пьяному делу: «Им можно — мне нельзя!» По двору погонял ее — притихла. Не внял женскому сердцу — закушался, значит, очерствел.

А раньше, когда в «Стройтресте» работал сначала мастером, потом главным инженером, потом директором, — простой был. Вспыльчивый, требовательный, но справедливый: премии — обязательно, профпутевки в Москву (за колбасой и сыром) пробивал, а как перевели в «Старгородреставрацию» (на бане он погорел — то ли мрамор, то ли кафель, то ли и то, и другое), так испортился мужик.

Формально — понижение, но приказали сверху дачи начальству ставить, и опять взлетел. Жену перевел из охотхозяйства в райисполком, и понеслось: в городском доме жить не привык, так он в слободе целую усадьбу себе нареставрировал, и все под лак, и ворота в кузне ему ковали с завитками. Мотоцикл с коляской, «Прогресс» с «Вихрем»-тридцаткой, а на охоту на реставрационном «газике» ездил.

Ладно, возвели ему помост около дома для

танцев плотники за месяц до свадьбы. Водки закупил (Евгения по своим каналам устроила) ящиков десять, но за то время, что ждал Валерку из училища, здорово эту водку подрастасили. И что интересно — одним продавал, другим — шиш, а раньше б никому не отдал — это днем ты начальник, а ночью, когда маятно человеку, и ты человеком будь, особенно если на этой улице родился и вырос и все тебя здесь как облупленного... Но неудобно, вишь, стало.

И на службе мужиков вконец позагонял. Платить перестал, только обещать горазд: «У меня каждый получает по труду. Выработаешь тысячу в месяц — дам тысячу, выработаешь две — дам две». Но это на словах. А если колода оконная под семнадцатый век стоит два пятнадцать, а ее рубить да ставить два дня? Расценки, что и говорить, ни к черту, но кругом же люди справляются. А у него стройотряд из Москвы весь план тянул, им-то он подводил калькуляцию! Конечно, от зари до зари колупались — двое мужиков, что поголосистей, пытались с ними тягаться, но плюнули — себя ж не уважать: ни выходных, ни праздников, но где это видано — им тысячи, а своим и двух сотен не наскребается. Ясное дело, не за так — делились с ним стройотрядовцы, как еще делились. Мужики, словом, приуныли, а унылый много ли наработает? Все Жорку Проничева поминали — прежнего начальника. Тот прямо из ресторана руководил. С утра засядет в кабинет — туда и несут ему подписывать. Проничев подмахнет, а потом, бывало, и стакан наливает. При нем до трех сотен набегало. Но погорел Жорка — выгнали

с работы, из партии поперли, сняли с номенклатуры — ставит теперь дома по району вольным соколом: «Когда хочу — пью, когда хочу — работаю».

Нет, но Пестерев со своим помостом! Решил Шестокрыловых свадьбу переплюнуть, что они в «Стрелецкой избе» гуляли. Выписал оркестр из «Избы», электричество на помост протянул, лампочки цветные, всю улицу поил, а в колхозе под это дело целого бычка отхапал.

И все б, может, ничего, если б не молодая — упростила Валерку покатаать ее на стройотрядовских «Жигулях». Покатались. Валерка — ни царапины, «Жигули» под списание, а молодая — открытый перелом ноги и полная отключка сознания. Привезли колодой в больницу, ногу кое-как собрали, заклеили наспех (Вдовин постарался), но та в себя не приходит — по рентгену выходит крышка: перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Хорошо, Пестерев настырный — привез из Питера нейрохирурга, не пожалел денег. Тот снимок ногтем поскреб, кал мышинный отколупнул да как заорет: «Девчонку из шока выводить надо было, а не пленку просроченную использовать!» Ругал их, ругал, потом к себе в клинику перевез — вытянул с того света, только хромая на всю жизнь осталась — нога загнила — клеили же на заведомом покойнике, особенно не старались.

В копеечку Пестереву свадьба встала. А тут еще милицию накормить, чтоб замаяли. А врачи! А машина! Кричи, словом, караул. Помост разобрали, «Прогресс» с «Вихрем»-тридцаткой продали, мотоцикл продали (Тимофей Андреевич, охотник Пятницкий, чохом прибрал), но

хуже — пришлось идти к Шестокрылову на поклон, «шестерку» стройотрядовскому командиру возвращать надо. Помытарил Савватей Иванович, поизгалялся, но дал — сняли с химзаводовской партии.

Ладно, машину с плеч спихнул, Валерку отмыл, отправил в часть служить, начал о долге думать. Тут и погорел. На чем? Да на ерунде. Подрядился в школе глухих детей за три тысячи бревна из воды таскать и пилить на дрова. Втихую, конечно, чтоб не узнали, — стыдно же. И застучали — нашлись доброхоты. Проверка какая-то сверху, говорят, Савватей Иванович тут руку приложил самолично. Подняли сметы, а сам Пестерев их и составлял. И перебор оказался в сто четыре рубля!

На суде какие-то все сапоги и комбинезон фигурировали, что школа глухих детей Пестереву должна была отдать, да не дала, а потому заложили, мол, их в смету. Завхозу школьному год условно, как на войне контуженному, а Пестерев залетел. Молчал бы, так нет — нервы сдали. Когда вели на суд (а он уж знал, что отступятся от него), то всей их братии райисполкомовской прямо на лестнице при людях воздал по заслугам: «Ты — брал! Ты — брал! Ты — брал!» — и перечислил, сколько и за что. Ясное дело — два года химии. Еще хорошо отделался. То есть вроде и дома, но отмечаться надо ходить, и работа — ящики колотить на винзаводе.

Запил, конечно. Евгения — женщина в теле, интересная такая, а он, что жук навозный: брови черные, усы черные, глаза горят. Здорово ей досталось. А под конец срока задели ему где-то на разгрузке бревном легкое. От судьбы не

уйдешь — не сильно и задела, а саркома развилась и пожрала. В гроб клали — чистый ангел-постник — кожа да кости и борода седая. Не узнать было.

Последний месяц лежал в горнице, стонал все: «Скоро? Скоро? Скоро?» Евгения молча за ним ходила — придет, уберет кровать, поворачивает его, чтоб пролежней не было, а он: «Скоро я сдохну, Евгения, скоро? Надоело, Евгения, надоело, все — тоска!» А она подушку поправит, пристроит его, «Маяк» ему включит и на работу идет.

Валерка на похороны опоздал — билета не купить было. Его же после Воронежского автодора — стройбата по-простому — запятели лейтенантить в Таджикистан, дороги для тамошних каракулеводоов тянуть. Приехал один, жену с маленьким оставил сидеть. Сходил на могилку к отцу[†] и все пять дней — в лежку с мужиками. Отпоминался, надел китель и уехал.

А Евгения вскоре за Тимофея Андреевича, за охотника Пятницкого, замуж вышла. Он ее из исполкома забрал, перевел опять в охотхозяйство.

Хорошо, говорят, живут, не ругаются — Пестерев-то ее больно уж поколачивал, особенно как в реставрацию устроился. Нет, неудачливое это место, и впрямь заговоренное, что ли? Не зря поговаривают, что Лушкина мать в полнолуние три раза их контору задом наперед обошла, когда мужа Лушкиного за продажу музейного паркета на семь лет укатали. Это, правда, когда было — в начале семидесятых, но бабы верят — старуха и по сей день жива, и по сей день ведьма страшнящая.

ПОБЕДА

Я, например, татар уважаю. Они, к слову, бормотухи и портвейна совсем не пьют — печенку берегут, в достижении цели упорные и верные — друг за друга горой. Как чечены почти, только те больше головой дерутся, а чтоб бояться — с рождения не знают: у них же мать за пятку ребенка над пропастью держит — приучает к бесстрашию. Ну, мы о татарах начали, так они, знаешь, гордый народ, гордость только у них особая — не показная, как у чеченцев, а тихая. Ты, например, никогда с ними в бане не парился? У-у, брат!.. Был тут у нас чекалдыкнутый один — очкарик натуральный, — ребята говорили, в архиве он работал на Алексея Толстого, потом голова кругом ходи — и списали его. Так, представь, все ему холодно было. Встает сверху в парилке и стоит, ногами так роет, как маленькая собачка пописала — ме-

ленько-меленько, и вниз — не стащить. Настоятся-напрыгается, а после — бряк! — и к Вдовину по скорой. Вот пришел раз татарин сына парить, а наш дрыгунчик с начала смены навеху уже мается. Как начал сын Аллаха поддавать — мужики сразу убежали, а дрыгунчик стоит. Ну, татарин сына отхлестал, направил в предбанник, за себя принялся, тут и очкарик не утерпел — как сирена заводская завопил да орлом с полка — нырьк! Все моечное отделение на автопилоте протаранил и в бассейн — с испуга что не натворишь, ледяной хлебнул, глаза выпучил, и в очках что твоя камбала ко дну на глубинное залегание — еле вытащили. Теперь стоит только кому из ребят крикнуть: «Эй, чудо, татарин идет!» — как он пулей с полка, а то до разрыва сердца достоялся бы — это точно, нам потом доктор Вдовин подтвердил — инфартец тут как неча делать работать можно.

Так что татары — народ особый, я их лично вполне понимаю. Но, с другой стороны — жизнь есть жизнь, никуда не денешься. У них, между прочим, бабы дольше всех мужиков слушались, но теперь и они сдали. Но старики — те еще держатся, а у молодых до беды доходило. Вот Равиль Нигматтулин со своей Гульнаррой. Я тогда в такси дорабатывал, Равилька — Игорек мы его звали — только начинал. Парень он не то чтоб высокий, а кряжистый — кость широкая, плечи — как два колеса. Покушать дурак не любит, а за баранкой сиднем каждый день — начал он вширь набирать; мужики ему и присоветовали культуризмом заняться. Ему сам Бог велел — паренек добрый, смирный — ну чистый медведюга. Он

и пошел к Толе Казаку, что теперь в штанах с лампасами ходит, в спортзал его записался, начал качаться. Это попозже я понял, что не только в толщине дело тут было.

Пить он вообще не пил, редко-редко когда с получки стакан пропустит — Гульнары боялся, вот и разбаловал бабу. Я почему знаю все — случай помог.

Мы с ребятами на вокзальной площади стояли — я уже тогда с пенсии в баню перешел, так здесь и сижу — вдруг, смотрим, драка. Один бугай, что щенят частный извоз валяет — как гвозди забивает — за шкуру схватит, сверху кулаком припечатает — готово. Они его молотят, а ему хоть бы хны — схватил, опечатал, в штабель, схватил, опечатал, в штабель. Мужики, кричу, Равилька бьют, чует мое сердце, айда выручать — этот зазря не ввяжется. И точно — обидели его, запросили три прибора, а у нас со своих рвать не принято, другое дело — гад будешь, если коллегу не отблагодаришь, но это именно другое дело, а своим — объявлять... Но те же — волки, хоть и стоят с нами на площади, правила у них свои, особенно ночью. Я лично их не признаю, не то что молодые — эти сейчас за рубль удавятся.

Ладно. Изъяли мы Игорька, я же его домой повез, благо дома у нас на одной улице. Но что удивительно — мужик пьяней вина был, я его таким не наблюдал. Толя Побожин нас и доставил.

У калитки Равиль меня за рукав тянет — на лавочку ему надо присесть; захочешь, не вырвешься — коленвал камазовский, а не рука. Сели. Он по пьяни и разговорился. Гульнара

в мебельном у него работает, ее завсекцией сделали. Вот ему и не угнаться — сам знаешь, как теперь мебель идет. Так что хоть объявляй, хоть одних цеховиков вози — никак ему за ней не угнаться. Нет равенства в семье. А им это нож острый. Да еще стали поговаривать соседи, что Гульнара с плохими женщинами связалась. Она-то ему поет, что допоздна бабки подбивают, а он: «Не верю!» Я успокоил — у меня тещиной сестры невестка в магазине работает, тоже каждый день счета подбивает, нельзя иначе — засудят, вдруг инспекция какая. Вот он и решился ее проучить — пришла поздно, а Равиль дверь закрыл и не подходит. Она, видно, учуяла его за дверью, поплакалась, поплакалась, а потом как заорет: «Насилуют!» Шутки, брат, не те — он и выскочил. А она — лиса — в дверь и на засов — сам посиди-ка на улице или иди в дровнике ночуй.

Ладно. Он — в парк. Занял у ребят денег две сотни — всех упоил, а теперь домой собрался. Боюсь, говорит, как бы не зарезать ее.

Не бойсь, отвечаю, она тебя сама боится и очень даже любит и уважает, хочешь, докажу? Ну, он меня целовать, заслюнил всего — чистый михрютка. Посадил его на скамейке, наказал ждать, а ему уже хорошо — голову откинул и захрапел. И слава, думаю, Богу — мне он сейчас ни к чему. Бабы, знаешь, все одинаковые, но татарки — те совсем та статья, — купилась.

Постучал я так культурненько в окошко, она выглянула.

— Гульнара, открой-ка.

— Кто?

— Михал Михалыч с таксопарка.

— Это вы? Что с Равилем?

— Ты мужика из дому прогоняла? — Стоит, лицо, смотрю, каменеет. Ну, это хорошо. — А ты знаешь, где он сейчас?

— Что случилось, Михал Михалыч?

— Ты Нельку с Любашей знаешь? — (А кто их в городе не знает.) — Так вот. Твой забрел к ним, денег у них занял двести рублей, поил всю эту бичевню, с трудом я его вызволил. Имей в виду, я под честное слово его увел — завтра уже не двести, а двести пятьдесят отдать надо будет. Ты девок знаешь — к ним не один такой на крюк попадал, да и вообще, мне казалось, тебе неприятно будет, если в городе узнают.

— Ой, Михал Михалыч, дорогой, как мне вас благодарить?

— Ты, — говорю, — давай шустрей двести рублей неси.

— Ой, я одним моментом.

Убежала. Принесла.

— Точно знаете, не больше?

— Знаю, знаю, не бойся, в другой раз думать будешь.

— Так он, Михал Михалыч, сам ревнует.

— Ревнует — значит, любит, ты б помягче к нему, помягче, учить вас, — говорю, — девоньки, и учить.

— Ой, спасибо, Михал Михалыч, спасибо вам, век вас не забуду.

Пошли мы на лавочку, взяли Равильку под руки. Она идет, все его гладит, как бычка, за ухом, что-то шепчет ему по-своему, а он только головой мотает да улыбается во сне. Довели, положили на кровать. Так Гульнара, добрая душа, мне еще и бутылку вынесла —

расчувствовалась. И с тех пор где меня встретит — здоровается, а стала важная — директриса уже, одни серьги на «Жигули» потянут.

А Игорек мой вскоре из такси уволился (двести-то рублей я ему наутро отдал, да с ним же вместе и посмеялся), перешел в мясники. Только развернулся — мне, между прочим, всегда любое мясо по госцене, — как Гульнара ему шах кидает — зам. зав. магазина! А тут вдобавок по мужской части... Вот здесь же, в моей бане, стал он на руках бороться с заезжим мужиком. Тот предупредил, что чемпион Свердловска по армреслингу, но Равиль — петух. Жался до последнего и дожался — связку порвал. Вдовин из больницы прописал ему операцию и запрет на культуризм, а Игорек только над профилем мышц начал работать; тут штука сложная: оставишься — мигом вширь поползешь. Словом, полгода псу под хвост — три операции, денег уйму выкинули. Склепали ему руку — сохнуть не станет, но уж прежней силы не видать.

И, что удивительно, не запил мужик, крепкий мишук оказался. Перешел на бензоколонку, к кооператорам, а там — сам знаешь, что за дела. Встретил его как-то, говорю: «Равилька, кончай хреновиной заниматься, до добра не доведет». А он: «Знаю, дядя Миша, но не могу», и такая в глазах печаль — мишук, истинный мишук. «Мебельный, — говорю, — все равно тебе не переплюнуть — тут либо к айсорам надо идти в обучение по камешкам да рыжью, но они же навроде вас татаров — не возьмут чужака, либо кооператив строительный организовывать — а у тебя на то образования нехватка, так что смирись, парень, и все у тебя будет, и чай, и кофе, и какао со сливками».

Не внял. Жизнь мат поставила. Гульнара директрисой стала, а он — вроде как героем.

Чечены с осетинами к нам понаехали, принялись бензоколонку к рукам прибирать, так Равиль их погонял крепко: троим хребтины перебил, одному голову проломил молотком своим (это левой — успел перестроиться), одного на тот свет отправил — к праотцам-джигитам. Бензоколонку отстояли, но на скамейку подсудимых поприсел.

Я на том суде был — народу много набилось. С одной стороны — чечня, с другой — наши. Адвокатов из столицы выписали. Прокурора и судей закупили, конечно, но, как ни крути, вышло Равильке пять лет (самооборона вроде — чечня на него с ножами лезла). Там много чего всплыло, много чего и замяли — обычный, словом, процесс, — раз в два года у нас такие случаются. Народ, конечно, за них горой стоял, окромя газетчиков. Те — вечные сороки: «Суд над мафией!» Смех, смех, да и только! Чечня, к слову, ту бензоколонку потом все равно откупила.

Равиля когда уводили, Гульнара закричала было, но он так цыкнул на нее: «Молчи, ребята о тебе позаботятся!» Она и подавилась.

Я видел, какими глазами его провожала — как тогда на крыльцо вела, а он-то, он-то — гордый, мишук, уходил. Победил ее, что и говорить. На зоне такие не пропадают — за одни бицепсы угловым поставят, да плюс легенда, как он чечню лохматил, да и деньги Гульнарины — на зоне деньги все делают.

ЛЕДИ МАКБЕТ

Все. Дошла до ручки. Начала таблетки собирать.

Как-то бабы говорили, что пьяниц не вскрывают. А если и вскрывают — так поди докажи: сам нажрался. Они сейчас чего только не потребляют. Одна горсть — и кляп с ним!

Она решила — стала копить таблетки, что ей невропатолог после отрезвителя прописала.

Ведь как было — он пил-гулял с пол, наверное, года. Зарплату домой — ни копейки. Пришел в тот день под газом, конечно, а им зарплату давали, она в курсе. Хорошо. Грешным делом, решила подпойть, а потом и вытянуть хоть остаточек. Ему добавила, сама, дура, стакан махнула — для успокоения нервов. Развезло его, но и ее, впрочем, зацепило. А как спросила: «Где деньги?» — он и пошел хохотать, а потом еще с кулаками. Ну и вызвала отрезвитель. Так он, змей, к их приезду

начистил зубы, голову под душем отмочил, а потом, как в дверь зазвонили, взял с плиты кастрюлю щей и на голову вывернул. Милиционеры входят, а он вопит: «Спасите, ребята, слепну!»

Что? Как? Кто поверит?

«Пила?» — «Пила». — «Деньги мужик носит, что тебе, дуре, еще надо?»

Видит — лежат на холодильнике: успел положить. И — в рец! И колотит ее, и тошнота к горлу подступает, а он комедию ломает — стонет. И как понесла их, гадов, как понесла — ровно на пятнадцать суток накричалась.

Мать, конечно, Сереженьку забрала к себе, а он... Пришла — стены голые — все пропил. Сидит на тахте, ухмыляется:

— Будем новую жизнь начинать или как?

Ноги подкосились... и — на колени... и — в рев-вой, и... такая у них опять любовь пошла, как когда-то давно, когда Васеньку делали.

С Васеньки и началось. Выбежал на улицу, попал под машину. А он в командировке был. Соседи, добрые души, донесли, конечно, что у нее в тот день гуляли — подружкин день рождения справляли. И как отрезало. Бил — больно бил, проклинал, потом сам пить начал.

А она? Она — не мать, она не жалела? Ей свою вину всю жизнь носить. Ей помнить, но ведь и прощение должно же быть. Ведь она после отрезвителя стыд-то переборола...

А он не человек уже — зверь и тот лучше, а Сереженька растет — все видит. За дверью вечером сидят, на два замка закрылись — вставил ей парень с работы. А он колотится: «Убью!» И парень тот на подозрении. И любовью чих плох. И жизнь его не удалась.

Нет, решила — стала таблетки копить. Ведь алкоголик — страшно. Скольких они убивали, и детей даже. «Давай разменяем!» Не дает. Спать вместе — не спит, но претензии предъявляет. А где спать — если каждый вечер... Каждый... А ведь не двадцать лет...

После отрезвителя неделю и держался. Как прошлый был. В кино в воскресенье сходили, а после шампанского — выпили и крышка. С той поры не просыхает.

В ЛТП сдать — убьет. Бойтся она его. И позор свой не забыть. Не отмыть. Девки говорят — плюнь, найди другого, подговори — пусть ему хлебало начистит. Но как бы сказать? Поточнее чтобы... Не в хлебале дело. Замок парень ей не за просто так ставил — тут он чует верно, но таких парней с тоски — дались они... Нет, тут надо разом кончать. Будут вскрывать — не будут — конец один.

Ну как их не копить? Приполз еле-еле, калашей паленой разит — «БФ» они потребляют. Нет, копить, копить!

Ночью сперва не поняла — завопил-замычал — думала, как обычно, но вывалился в коридор, глянула: «Святой Боже!» И — «Скорую». Промывать — промывали, но что толку — эссенция уксусная. Она у него под кроватью в бутылке водочной стояла. Врачи решили — обознался, но она знала — давно пугал. Допугался — без таблеток обошлось.

А когда хоронили, подружки еле от гроба оттащили — пошла кричать. Так в детстве паровозы кричали — страшно было их слушать, если рядом стоишь.

КРЕПОСТЬ

А. Немзеру

По раннему утру, по залитому солнцем городу, по улицам с молодой зеленью лип и тополей, среди редких пешеходов, продвигается человек. Он не молод, но еще и не так стар, чтоб звать его дедушкой. Старит его скорее облик, раз навсегда принятый, закрепленный чудной одеждой: серая шапчонка, помятая, но аккуратно надеваемая, любимая, как в одиноком доме дворняжка. Далее — очки с особыми линзами: толстые кружки врезаны в едва изогнутое стекло, за ними — размытые работой серые глаза, порой глуповато-доверчивые, но чаще отрешенные, невнимательные к окружающему до надменности. Ниже — воротничок тяжелого, не по погоде пальто, с толстым хлястиком, толстой черной пуговицей, за-творяющей эти драповые ворота по-мужски направо. Ниже — брючки, ничем не выразительные,

и башмаки тяжелого хода, отвратительной местной строчки. В руке — коричневый портфель. По весенней улице, словно не замечая ее раз в году случающейся чистоты, без особых эмоций и волнения продвигается, именно что не идет, бронированный человек, человек — сам-себе-крепость, не потому столь закрытый, что все вокруг плевать на него хотело, а, кажется, потому, что сам, раз отстранившись, имеет с окружающим мало общего. Продвигается он немного наклонившись вперед, не как согбенный болезнью, а как противоборствующий встречному ветру — ежедневное сидение за столом слепило так.

Человечек берет от моста направо, мимо «Клуба юных моряков», задворками первой бани, сквозь груды старых ящиков пивзавода, выбирается к пятиглавой церкви Иоакима и Анны, «что на пропасть». Поднимается на галерею, толкает тяжелую дверь городского архива, входит внутрь, здороваётся с постовым.

Павел Анатольевич Огородников приходит за двадцать минут до начала рабочего дня. Аккуратно снимает пальто, вешает в шкаф на плечики. Остается в клетчатом пиджаке, клетчатой байковой рубашке, затянутой у горла однотонным галстучком с булавкой. Затем — нарукавники. Затем — карандаши-карандаши, бритвочки, перочинный ножичек, ластик: красный с толченым стеклом и светло-серый «Кохинор» с мамонтенком, ручка-самописка с черными чернилами, вторая, такая же, на случай поломки первой. Затем — щелчок выключателем, загорается зеленая настольная лампа, обязательная даже в яркую весну, даже

в душное старгородское лето — закуток Павла Анатольевича отгорожен от архивных стеллажей большими дубовыми шкафами, перенесенными из городской консистории в марте 1919-го. Затем — разминка пальцев. Затем сесть к столу, придвинуться к нему поплотнее, вытащить из правой стопки «Дело», развернуть, пролистать, просчитать странички, свериться с предыдущим номером в описи. Затем глядеть внимательнее — смаковать, читать, про себя произнося особо ритмически звучащие формулы: «А по указу Государя и Великого князя чинить сей роскат исправно...», или: «...а детей пушкарских, инде же грамоте учиться не захотят, розыскивать и строго наперво упреждать...», или: «И милостию Вышняго, а Вашего Величества щастливым о государстве радением дело сие совершено. А я нижайший имею честь к стопам Вашего Императорского Величества оное предложить...», или: «Пирамида есть тело иногда плотное, а иногда пустое, имеющее базис широкий, и обыкновенно четверугольный, а вверху кончающееся шипом». Кто так сейчас скажет?

Доносы, письма личные, жалобы, рескрипты, благие пожелания на пользу Отечества, сметные листки, подорожные, росписи имущества, отошедшего в давние годы в несуществующую ныне казну, наветы лжеправдолюбцев, доношения, описания построек и вовсе ничтожных, конспекты великих речений, неизвестно откуда выдернутых, занесенных рукой умелой писецкой либо любительской, каракули, виньетки, завитки — нет здесь секретов для Павла Анатольевича. Есть неизмеримое блаженство, красота, наконец,

речи ли, изобразительного ли умения делопроизводителя, какая в конце-то концов разница! Буквы, буквицы, киноварные заставки — течет где-то там день, а здесь, вокруг — красота!

«Чтоб познать, как учинились области и царства, на которые разделилась вселенная; по каким степеням дошли они до оныя великости, которую история нам объявляет, и каким союзом фамилии и города соединились, дабы составить один корпус общества, и жить бы совокупно под одною властью, имея общии уставы, то надобно восходить, чтоб так сказать, до младенчества мира, и до того времени, в которое люди, рассеявшись по различным местам, после разделения языков, начали наполнять землю».

Как не задуматься походя о младенчестве мира, о широком базисе невиденной египетской пирамиды, кончающейся «вверху» шипом?

Но как бы походя, ибо рука безостановочно фиксирует — пишет архивную опись, нумерует карандашиком ненумерованные страницы, подшивает отпавшие листы, а глаз глядит сквозь прилаженную к лампе бумагу на водяной знак, отмечает: «Липсиа, 1785, корона и крест», сверяется по памяти с указателем: «Есть такое дело!» Рука проставляет в нужной графе размер, буде попалась книга: восьмая, четвертая часть листа — шуршащее перышко выводит, заносит, закрепляет, в койй раз навеки, и лишь в конце описи притулит внизу закрючки: «описал П. А. Огородников». Он бы и не ставил, давно покори́л гордыню, что свойственна начинающим.

Он тоже начинал, учился в местном педин-

ституте, глядел вокруг и не находил себя в том окружении, видно, искал консисторских шкафов и драпового пальто, что по безденежью архивного служаки будет он носить до своего конца. Но это сейчас, это потом. Тогда, на практике, старичок Цветонравов, из бывших поповских детей, ввел в пыльное хранилище, показал сухонькой ручкой на бумажные завалы, сотворенные красноармейцами в том же 1919-м: «Вот. Сие — работа!» Он принялся рыться, он желал открыть! свершить! Но Цветонравов устыдил: «Братъ следует по порядку, чем они провинились?» Они — были «дела». Павел Анатольевич подчинился, и, раз сев за стол, больше не вставал, только, кажется, преврался на минутку, чтоб жениться да сходить раз в роддом за дочерью. Но дом — вторая крепость, если не третья, первая — архив, вторая — пальто.

Здесь, за шкафами, развился иной азарт, азарт послушника-охранителя, появилась и иная гордыня, не та, что у академического историка, всерьез убежденного будто бы в том, что открывает истину, а гордыня знатока, питаемая воображением. Жизнь в мертвых звуках стала радостна и сладка, как те яства, что попадают среди слепого перечня: «теши осетра четыре, бок белужий, иных рыб соленых больших две бочки, сушеный изюм, гилянское пшено (понимай — рис привозной), имбирь, древо коричное». Монастырский рацион. Если припомнить монастырскую опись, сопоставить по времени с общежительским уставом, то вот и утро встает: трудники запалют очаги, розово на небе, в саду — весна!

...Павла Анатольевича отрывают от дела.

Исследовательница из Ленинграда просит о помощи. Она пишет историю оборонительных сооружений Старгорода, ищет послепожарную опись 1724 года. Павел Анатольевич поднимает глаза — сейчас они глупо-доверчивы, расположены к просительнице.

— Минуточку, минуточку...

Он встает, идет коридором стеллажей, выдергивает ящичек, пальцем, как по струнам, проводит по карточкам, словно купюры считает. Достает. Читает. Дальше — просто. По номеру ей найдут дело, где, помнится, говорилось о погорелых слободах за Копанькой, о разрушении рва и новомощении Позагородной улицы. Ров тогда, как же, порос дикой травой, и вода стояла «гнила зело», и «не мочно было той воды брать на огороды». Не выслушав благодарности, он поворачивается. Назад к своему столу идет человек в нарукавниках, с лысоватой головкой, наклоненный вперед, шаркающий тяжелой подошвой. Исследовательница спешит к выдаче, где, может быть, разговорится с архивными девочками о теледебатах, а может, дождется выдачи дела и будет потом глядеть в окно да и заснет за столом с устатку или от лени.

Павел Анатольевич привычно идет по читальному залу между пустых столов — много ли, правда, в мире чудаков, интересующихся старгородской историей? Он идет себе, идет и вдруг ловит слезный взор и весь облик — пушистый, беспомощный. Деловито подходит к столу. Студентик протягивает лист: «Знаете, тут ничего не разобрать, не могли бы вы...»

— Минуточку, минуточку...

Павел Анатольевич подносит лист к лампе,

начинает с налету: «По указу Великого Государя, всеа Великия, Малыя, Белья Руси...» Без остановки, мерно, словно читает газету слепому. Студентик пытается записывать, не успевает, мечется над листом, но бросает карандаш.

— Нет, это невозможно!

— Ничего нет невозможного, молодой человек, обычная писецкая скоропись семнадцатого века.

— Тут иероглифы какие-то, а не буквы.

— А как же, конечно иероглифы, очень даже и красивые. Вы привыкнете, не волнуйтесь, все привыкают. Вот-с, теперь давайте повторим.

Огородников читает снова, медленно, чтоб студентик успел записать. Наконец дело сделано.

— Спасибо, спасибо вам большое. А знаете, тут еще у меня один текстик — тот хуже...

— Ну нет, молодой человек, пора и честь знать, у меня работа.— Глядит уже надменно, уже отходит от стола, уже снова мерно шаркает, бредет в свой угол. Про себя отмечает: захочет — сравнит, разберется, станет читать, не сумеет — грош цена, так-то!

Через минуту он уже за столом, уже работает.

Павел Анатольевич Огородников — человек-сам-себе-крепость — сидит за крепким столом. Смотрите: и нарукавники, и башмаки, и очки в немыслимой черной оправе, и портфель, что никто уже не носит,— тут прочно основалось постоянство. Не оттого ли архивные девочки, мечтающие о счастливой, романтической любви, так трогательно пестуют его

за обедом? Он жует бутерброд, мешает в стакане чай алюминиевой ложкой, рассказывает по их просьбе какую-нибудь особенную историю, например, как в Белой башне пустил себе в лоб пулю от неразделенной любви к купчихе Пильгиной прапорщик Савельев. Девочки слушают, не мигая глядят ему в рот. Ведь кто бы такое мог себе представить, а? Он может.

Затем расходятся по закоулкам. Девочки снуют из подсобки в читальный зал, толкая тяжелые тачки с делами, книгами, коробками с микрофильмами, чиликают с редким посетителем, он — работает. «Фуражная опись квартирующего в Аннинской слободе Лейб-гвардии четвертого уланского полка», еще одна — за следующий год, «Дело об утере шпаги корнета Сергеева», «Записка вдовы Вечтомовой о бедственном положении, в связи с неуплатой ей пенсии за умершего мужа», далее что-то подобное, серое и убогое, перечисляющее вздохи, кланяющееся, по-русски неистово молящее, сквозящее безнадегой и сиротством. И все это — здешнее, старгородское, а городок, городишечка — точка, точка на большой карте, а дел скопилось в хранилище много, и никто, кроме Павла Анатольевича, не берется здесь за их нудную обработку.

Кончается рабочий день. Павел Анатольевич аккуратно убирает в портфель ручки, карандаши, ластик, ножичек, бритвочки, очищает стол, кивает на прощанье убегающим девочкам. Он натягивает тяжелое пальто, зашнуровывает его толстыми пуговицами, выходит на галерейку церкви Иоакима и Анны, «что на пропасть». Когда-то здесь была роща, потом чумное кладбище с маленькой деревянной ча-

совней-однодневкой, потом построили пятиглавую церковь. Он идет не мимо пивзавода, нет, он продвигается по несуществующим палатам купцов Клыковых, мимо старого рыбного рынка, по трехпролетному дубовому мосту с быками-волнорезами, по Гончарной слободе. И если кто подумает, что человек в пальто не замечает прелестей весны, если считает, что «этот с портфелем» не дышит так же легко и радостно, как он сам, то он не прав, ох как не прав... Хотя случается так, что собственная радость застит глаза, и окружающие отвратительны, и ни с кем неохота делиться мимолетным, но собственным счастьем, и это тоже хорошо, правда?

Павел Анатольевич проголодался. Поневоле он сбивается на прекрасную прозу жизни — начинает мечтать о горячем борще и зразах с грибным соусом, что так вкусно готовит его супруга. Дома к нему благоволят и всегда оставляют лучшие куски.

Взгляд его при этом по-прежнему отрешен, невнимателен к окружающему до надменности.

МЕТАМОРФОЗЫ, ИЛИ ИСКУССТВО МГНОВЕННЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ

А. Архангельскому

Вот я сплету тебе на старинный манер некую басню, слух благосклонный твой порадую лепетом милым, если только согласишься взглянуть на бумагу, что исписал я чернильной ручкой; ты удивишься на превращенья судеб и самых форм человеческих, и на их возвращенья вспять, тем же путем, в прежнее состоянье. Я начинаю.

Но кто я такой? — спросишь ты. Выслушай в двух словах. Лямочкины — наша фамилия. Старгородец, сын старгородца, внук внука старгородца, а уж таких немного теперь. Плененный на время Москвой, проучился я там в МГУ на истфаке, никому не ведомым Апулеем занимался. Здесь ныне в местной газете тружусь, а ведь подавал, подавал большие надежды, но все это в прошлом. Двигаюсь я по лестнице служебной, Филимонов даже обмолвился, что сделает скоро ответствен-

ным секретарем. Понятно — я покорен судьбе и сметлив. Но я старгородец, я здешний, плоть от плоти, я, Лямочкин, пишу иногда свои басни-заметки, в стол их кладу, — летопись своего поколения забумал я накопить. А посему прежде всего умоляю не оскорбляться, если встретятся в моем грубом стиле простонародные выраженья вперемежку с чужеземными словами. Но ведь само чередованье наречий соответствует искусству мгновенных превращений, а о нем-то я и собирался писать теперь. Иль не о метаморфозах — о судьбе? Итак, начинаю басню. Внимай, читатель, будешь доволен.

Не так и давно, как назначили меня заведующим отделом, а Филимонов уже наказывает: «Завтра спешу, завтра — встречать едем товарища Карпоноса. Будь к поезду. Заране приди. За полчаса».

Ладно. Лечу-бегу, проклиная судьбу на ходу, но покорен — четверг, день рабочий, а надобно ждать, стоять, встречать — инспектор из Москвы приезжает с проверкой. Хорошо ли, что я включен? Не знаю, не знаю — пожалуй, что плохо. Слыхал краем уха о встречах — теперь вот ввысь поднялся — берут и меня. Берут, и слава Богу. Бегу-лечу, проклиная все — стыдно.

Но. Выходит из спального вагона сперва Брюхо. Пузо. Волдырь. Все на перроне — оживление в зале изображают, я молча гнусь. Подводят к ручке, последним подводят. Шофер несет чемоданы. «Волга» катит к особнячку, «пазик» наш — трюх-трюх — поотстает. А кого же мы подбираем? Как же — главный архитектор: Илья Семенович Разкин, следом — профсоюзы: Борис Борисович Сквозняков,

горком — Бобчинов, райком — Добычин, и далее по списку. Филимонов руководит списком — Главный в машине с товарищем Карпоносом. Уже устраиваются небось, а мы все кружим, все собираем: Алимжанов — базар, Коршунов — мебельный комбинат, Патрикеева... Стоп! Откуда Патрикеева? Патрикеев! Компания строго мужская. Ах, извините — мал росточком, хлипок в кости, пальто кожаное скрывает формы — это горбанк. Собрались? Собрались. Ну и с Богом — маршрутец к пристани.

— А где армяшка?

— Сурен Биглярович? Он на корабле, уже на корабле — шашлычок готовит.

Сурен Биглярович — наш «Коопторг».

И мы на корабле, и причал не главный, а около «Рыбнадзора» — экскурсанты нас не заметят, да им и не до нас — лето в разгаре, день четверг — дивный день, до инспекционной ли им поездки? Заходим по трапу. Парад принимает Главный.

— Лямочкин?.. Твой отец в типографии работал?

— Так точно!

— Во какие у нас орлы подрастают. Иди-ка ты на камбуз, помоги Сурену Бигляровичу.

Шашлыки. Шашлыки. Шашлычки. Лучок, помидорчик, баранинка.

— Дорогой, почему уксус? Надо в коньяке замачивать — уксус губит.

Шашлычок — объедение.

— Ребята — пора!

Несем! Остренький! Жирненький! Укропчик, салатик со слезой! Кому надо — лимончик!

И теплоходик — загляденье; окна зашторены — никто, ничто не заглянет.

Я одиноко давлюсь шашлыком в стороне. Сколько уже съел, а все еще и еще тянет — вкусен, падло! Я перемазался жиром. Я молчу — я люблю шашлычок.

Кончатся здравицы — баня. Баня, банька финская! Прямо на корабле! Ай да ну и ну!

— Все, все, все спускайтесь — Главный обидится!

Главный... Не к ночи будь он помянут!

В баньке разговорчики. Товарищ Карпонос делится новостями столицы — Патрикеев не вовремя пускает газы. Конфузится. Все хохочут. Мне — стыдно.

И вот на корме — в плавочках. «Брюхо» красен, пар от него так и валит. Кто-то взвизгивает от восторга. Кто-то нахваливает старгородскую водичку: подзуживают толстенного Разкина — с борта, бомбочкой. Здесь глубоко, чисто. Здесь, на Сеньге, в протоке, будьте покойны, никто не помешает — проплывет разве случайный дурак, но здесь редко бывают.

И вдруг из-за поворота — фу-фу-фу! Грязные, замазюканные глиной, наверняка вонючие две старгородские полусоймы: копченые-смоленые, сети комом; на них вповалку: рвань-требуха-бичевье. Фу-фу-фу! Все отворачиваются — я один смотрю неотрывно. Знаю, как эта рыбка достается. Рыбаки, как по команде, отворачивают испитые носы, и только тот, что за рулем, смотрит на меня пристально и злобно. Ни блеска, ни искринки во взгляде. Стыдно мне, страшно...

— Лямочкин, вставай, день прошел! Как надо отвечать, Лямочкин?.. Отвечать надо: «Ну и хрен с ним!»

Это — Тимофеев из отдела писем, вечный гвардеец-сержант. Лямочкин потягивается, слюнку вытирает с краешка рта, сладенькую, приспанную. Никто не видал? А-а! Машет рукой, направляется к выходу. Нет, ну приснилось же, нет, ну — приснилось!

Лямочкин прямоком идет к пивному ларьку — кружку-другую пропустить, зацепиться языком, может, басенку какую порасскажут. Галстук предусмотрительно снимает. Пьет. Слушает краем уха.

— Дали сегодня кругаля. И все — Потеха, сукин потрох. Капитан в отпуске — рыбы не будет. Потеха руководит. Завел, падло, аж на Сеньгу, на протоку, а там рыбка есть, есть, да хрен ей взять, только мережей если. Руки пооборвали, а вытянули — один мудорез колючий. Испод по нему прошел — всю сеть перемотало.

— Мудорез?.. Деда говорил, после войны им коз кормили.

— Деда? Деда скажет твой — ехало известное, больше слушай.— Рассказчик основной поворачивается, скользит по Лямочкину взглядом. В туманных глазах — одно пиво, даже искра не блеснет. Пиво тянет его, тянет к Лямочкину. Рука-грабарка хапает пиджак, наматывает, как траву на винт.

— Ты чё? Ты чё?

— Ладно, ладно, мужик, остынь,— Лямочкин знает, как с ними надо.

— Ты чё? В натуре, да? Ты чё, из этого района? А я — мужик, я — рыбак, поэт? А ты чё?

Лямочкин узнает — глаза, глаза узнает и... пугается. Не прав, ой, не прав — пугаться не-

льзя. Ни в коем случае нельзя пугаться. Отшатнулся — распалил.

...В больницу приходит Филимонов. Приходит, с утверждением поздравляет, незаметно сует под подушку фляжечку стеклянную коныяку.

— Обмой событие!

На тумбочку гордо кладет два лимона — дары чудесной Эллады. («Константиди Георгиус» фирма — наклейка яркая, буквы — букочки коричневые, будто из дубовых орешков чернила те буквицы писали. Вот оно превращенье!)

Жалко, крыльев нет, но ничего, можно и без них, только б поднапрячься! Лямочкин закрывает глаза. И больше не ноет челюсть — он уже далеко, там, в Элладе. И это — это сугубая, личная тайна. Он туда летит быстро-быстро и возвращается на койку здоровым и бодрым.

Но ответственный секретарь — свинячья должность, ох, свинячья — и шишки валяются, и отдыха ни минуты. И весь в совещаньях, весь в плане по уши, в отчетах, в сметах, графиках, жалобах, ябедах, кляузах — ты. Но знал Филимонов, кого выбирать, кого двигать. Втянулся, заработал на полную силу Лямочкин. Попривык. Обжился. Завел чашку для чая большую, больше прежней, пепельницу с гончей собакой литой, ручек набор перьевых и часы электронные «Смена». Странно, но факт — все его полюбили. Все до единого. Только дома жена знает, как ему тяжело. Но всем тяжело. Всем, а работать умеет не всякий.

Лямочкин уходит в свою комнатушку, достает из шкафа старые крылья, сколько раз

жена стирала их в специальном корыте, белые лебединые крылья, что достались ему по наследству от деда (тот в Галицийском походе подобрал их в какой-то корчме), надевает их прямо на футболку — в форточку вылетает. Летит.

В римском предместье, на берегу ли пустынного моря, на старой скрипучей галере, примостившись на бухте канатной на корме, от взоров сокрытый, Лямочкин разворачивает свиток. Лямочкин читает, вслух декламирует строчки: «Одно торопится стать, другое перестать; даже и в том, что становится, кое-что угасло; течение и перемена постоянно молодят мир, точь-в-точь как беспредельный век вечно молод в неустанно несущемся времени. И в этой реке можно ли сверх меры почитать что-нибудь из этого мимобегущего, к чему близко стать нельзя,— все равно как полюбить какого-нибудь пролетающего мимо воробышка, а он, гляди-ка, уж и с глаз долой...» Лямочкин думает. Нет, нет, он не согласен... но и согласен. Ведь как не полюбить воробышка: чилик-чилики — нету!

Ан есть! Есть. Лямочкин пишет. Очередную заносит байку, басенку, новость заносит в толстую, коленкором обшитую тетрадь за девяносто две копейки. В ней и воробышкам место, а так, верно — вверх, вниз, несутся по кругу качели века, но не в движение добродетель, а в чудесных метаморфозах, что он наедине переживает.

Жена зовет к столу — семейство стекается к позднему ужину. Заходят и Иванов с супругой — друзья и соседи по лестничной клетке. Лямочкин льет густую, настоенную на греческой цедре, водочку из запотевшей бутылки,

затем, дзинь стекла! — смачно грызет огурец, с хрустом грызет. Иванов говорит анекдот, женщины громко смеются...

В той же редакции, все в той же редакции работает Лямочкин, несуетный, вдумчивый, но порой как весенний воробышек суматошный, незаменимый, единственный. Он ничего не боится теперь, порою встречает начальство, трясется, затем трюх-трюх в постаревшем «пазике», колесит по Старгороду, подбирает любителей баньки. Но чаще находит предлог, чтоб остаться в редакции.

И если не допоздна в ней сидит, пьет-гоняет чай с выпускающим номер, если удастся ему пораньше закончить дела, Лямочкин ходит к пивному ларьку. Кружечку-другую пропустить, зацепиться языком, — может, услышать басню-другую из жизни. Он ходит в галстук, теперь он его никогда не снимает. Он пьет пиво, дымит сигареткой и, не стесняясь подступающей плешивости, радостно смотрит в лица встречных.

ВЛАДИК КУЗНЕЦОВ

Старгородцы народ такой. Вряд ли кто-то занимался точным подсчетом эмигрантов из Старгорода, но все знают прекрасно — Москва и Ленинград постоянно пополняются бывшими старгородцами, и, думаю, процесс этот начался задолго до Октябрьской социалистической революции. Правда, затем отток заметно возрос, особенно после войны Великой Отечественной, сократившей численность жителей этого исконно русского города весьма и весьма значительно. Но об этом рассказывать как-то неприлично. Вся страна знала о подвигах старгородцев, вся страна в пионерском младенчестве среди имен Лени Голикова и Марата Казея с упоением произносила имя Билляхут Максудиновой, чьи действия на Черном берегу Озера принесли ей звезду Героя Советского Союза, а после почетное место в государствен-

ных профсоюзах Российской Федерации. Но не станем о тех, кого знают в лицо. Поговорим лучше о неизвестных, о забытых. Имя им легион, и восстанавливать справедливость — дело достойное. Ее и восстанавливают красные следопыты школы № 2 Левобережного района города Старгорода. На их стендах желающий прочтет много познавательно интересного, по-сему и отсылаем таковых на улицу Веры Засулич, где в тени тополей стоит типовое здание школы № 2.

Мы же поведем рассказ о герое нашего времени.

Старик Кузнецов, смолоду порвав с породившим его на свет отвратительным миром старгородских дореволюционных лабазников, записался добровольцем в Красную Армию и с той далекой и романтической поры навсегда остался верен зеленому: цвету, порядку и принципу единоначалия, дослужившись, после Второй уже войны, до чина пехотного полковника. Выйдя в отставку, возвращаться в забытый Старгород он не пожелал и, довольствуясь малым, остался проживать в городе Люберцы, в гарнизонной квартире, выданной ему и его потомству в пожизненное владение.

Сразу надо сказать, что история умалчивает, где и на каком этапе затерялась на обширных просторах России нашей его единственная дочь Светлана, и если б не оставленный старикам маленький Владик, можно было б и вовсе сомневаться в факте ее существования на оном свете. Бабушка Кузнецова не дожила до окончания внуком десятилетки трех недель и была похоронена на Люберецком кладбище без отпевания, на чем, конечно, настоял

старый ветеран. Владик же, слывший в школе вундеркиндом, глубоко пережив бабушкину смерть, тем не менее закончил обучение с золотой медалью, открывшей ему, наряду с незамутненным пролетарским происхождением, двери в альма-матер — на исторический факультет МГУ имени Михайлы Ломоносова.

Подобно своему высокому патрону, взявшему штурмом Московскую Заиконоспасскую школу, Владик Кузнецов появился на факультете в одежде весьма простой: в добротных зеленых штанах, вероятно, перешитых из дедовских, в армейской же офицерской рубашке без погон, с двумя вместительными карманами, полными остро отточенных карандашей, перьевой ручкой с обязательными черными чернилами, мелкой пластмассовой гребенкой и льготной сезонкой «Москва — Люберцы». В отличие от своих благоустроенных московских сокурсников, Владик жил на стипендию в 55 рублей (пятнадцатирублевая надбавка за круглые пятерки) и твердо знал чего хочет. Окружающие его снобы, погрязнув в отвратительной роскоши, пропуская занятия, брали штурмом пивняк «У безрукого», когда Владик четко и методично учил латынь и собирался писать курсовую работу о трактате Катона Старшего «О земледелии».

Многие читатели, конечно же, знакомы с этим сочинением да и с биографией сего выдающегося деятеля Древнего Рима, для тех же, кто еще не успел, по ряду обстоятельств, прочесть «Биографии славных полководцев» Корнелия Непота или «Сравнительные жизнеописания» Плутарха (т. 3, вып. 3, Спб., 1891 г.), приведем для сведения сухую, но исчерпыва-

ющую справку из Большой Советской энциклопедии (второе издание, т. 20. Кандидат — Кинескоп, с. 383). Итак: «Катон Старший Марк Порций (не путать с Катоном Младшим Марком Порцием Уттическим) (234—149 г. до н. э.) — крупнейший политический деятель и писатель Др. Рима. Происходил из зажиточной плебейской семьи города Тускула. В 199 г. до н. э. был избран плебейским э д и л о м (см.), в 198 г. до н. э. — претором (см.) в Испанию, где подавил восстание местных племен. Участвуя в войне с сирийским царем Антиохом III, К. в 191 г. до н. э. в битве при Фермопилах (не путать с битвой царя Леонида и 300 спартанцев с персами) обеспечил римлянам победу. В 184 г. до н. э. был избран цензором (см.).

Добившись сенаторских должностей, К. выступил защитником аристократич. привилегий. Был крупным земельным собственником и обладателем больших денежных средств. К. выражал интересы той части нобилитета, к-рая перешла к новым формам хозяйства — организации крупных, основанных на рабском труде латифундий с развитым в значительной степени товарным производством. Всей своей деятельностью он содействовал введению активной внешней политики и расширению римск. завоеваний.

К. настаивал на разрушении К а р ф а г е н а (см.) — сильного торгового конкурента Рима. Представляя в то же время консервативные староримские элементы, он ввел суровые законы против роскоши, боролся против влияния греч. культуры. К. является крупнейшим представителем римск. прозаической литературы. Сам он хорошо знал греч. язык и греч.

литературу, в частности Фукидида и Ксенофонта. Главным его трудом были «Начала» — историч. сочинения на латин. языке. В своем труде К. дал не только историю Рима, но и других италийских городов. Из многочисленных речей К. до нас дошли только отрывки. Целиком сохранился с.-х. трактат «Земледелие», содержащий много данных по истории экономики и с.-х-ва того времени».

Признаемся честно, мы не попали в число избранных, кому удалось познакомиться с трактатом начинающего ученого Кузнецова, мы оставались в тени, нам выпала доля наблюдателя. Работа молодого историка (в четыреста пятнадцать страниц!) была незамедлительно отмечена профессурой кафедры и, посланная на ежегодный конкурс подобных работ, по праву принесла Владике первое место и памятный подарок — книгу Иоганна Кляммера «Рим периода упадка империи», свободно продававшуюся тогда на лотках «Академкниги». Не беремся судить о трактате Кузнецова, но знаем доподлинно от близких приятелей Владика, что подобной по длине, содержательности и, главное, написанной ярким, свободным стилем, столь не свойственным нашим отечественным историкам, курсовой работы, кафедра не знала, пожалуй, с момента основания. Владика прочли большое будущее — сам старик латинист Троицкий особо отметил перед группой, с трудом заучившей «Экзеги монумент (ум)», виртуозное знание Кузнецовым зубодробительной и столь полезной латыни. «Эго-меи-михи — ме-ме», — выразили свое почтение сотоварищи Владика в коридоре. «Оррис-тур-мур-мини-нтур!» — блеснул эрудит в ответ, густо краснея.

Не знаем, обладал ли любимый герой Марк Порций Катон Старший способностью Владика загораться вмиг здоровым румянцем, но думаем, что физическая подготовка полководца соответствовала римским стандартам. Юный Кузнецов, зная, что каждый — кузнец своего счастья, и твердо усвоив, что «в здоровом теле — здоровый дух», следовал наставлениям дедушки полковника, по слухам, заставлявшего внука пробегать ежедневные шесть километров с полной боевой выкладкой, — для чего в заплечный ранец предварительно укладывались отмеренные по весу кирпичи. Владик явно намеревался, подобно римскому герою, прожить по крайней мере восемьдесят пять — ни меньше ни больше.

Завоевав определенную известность, Владик не остановился на достигнутом. Уже один вид его, или, как сказали бы поклонники западных словечек — имидж, — разительно отличал Кузнецова от джинсастых, расхлябанных сокорытников. Всегда подтянутый, но совсем не высокий, в неизменно отглаженных дедовских брюках, в чистой рубаше с узеньким офицерским галстуком, коротко стриженный, в простых, прямоугольной оправы, очках, с неизменным вместительным дермантиновым портфелем «привет из планового отдела», он даже зимой не носил ничего лишнего. Только в лютые морозы семьдесят пятого смогли припомнить на нем серый простецкий пиджачишко, с аккуратными по-воински кожаными заплатами на локтях.

В месячном сентябрьском рейде на овощебазу он неизменно стоял у фасовочного аппарата, и тогда как другие бесконечно

отлучались во фруктовые секции, Владик наполнял пакет за пакетом подмокшей картошкой, неизменно сетуя на условия хранения, делясь с самыми близкими сокровенной мыслью. «Дед мой,— говаривал там Владик,— не для того воевал, чтобы сегодняшние жулики-армяшки разворовывали империю на корню». Заведующий секцией, признаемся, был красавец армянин, начинавший как историк в Ереване, но после сменивший свой институт на московский пищевой. «Мои друзья все теперь доктора, кандидаты наук,— откровенничал он,— но я не жалею, третий год на базе — третьи «Жигули» меняю». Надо заметить, что в те архаические времена середины семидесятых отрицательно настроенный студент, почитывая тайком «Гулаг» и лоя от нечего делать в одиночестве позывные «Голоса Америки», был далеко не так политизирован, как нынче. Оппозиционность режиму была ярко выражена, но дальше анекдотов дело не заходило. Не было еще и столь сильного расслоения и в подмосковной окрестности — Люберцы, например, не породили еще знаменитое племя качков, и думаем,— мы, заметьте, первыми высказываем эту гипотезу,— что Владик Кузнецов и положил начало сим прирожденным шварценеггерам, ибо был к тому повод, да и всем известно, что, кроме утреннего бега, Владик ежедневно занимался тяжелой атлетикой по методике, разработанной легендарным дедом.

А повод-случай вот какой. Владик всегда был галантен с дамами. Галантен подчеркнуто, без всякой, заметьте, для себя пользы. Однажды вечером он возвращался с приятелем

с занятий и около люберецкого кинотеатра «Рассвет» заметил некрасивую картину. Здоровый верзила из местной, но уже тогда опасной урлы, не вынимая изо рта папиросы, обратился к юной представительнице женского пола. «Ну, что, жопа, пойдём?» Так дословно было передано нам это изысканное обращение.

Оттолкнув приятеля, Владик кинулся к верзиле, а, надо заметить, улица отстоит довольно прилично от ступенек кинотеатра. Намерения бежавшего были столь стремительны и неожиданны, что верзила на всякий случай переложил губами папиросу из правого подвтренного угла губ в левый. Владик затормозил прямо перед кавалером и, не отдышавшись, выпалил: «А ну-ка извинитесь перед дамой». Король урлы, а это был знаменитый Букварь, ныне уже покойный, отступил на полшага и обратился в пространство: «Щас я его буду убивать!» Удар последовал незамедлительно и пришелся Владиду по переносице. Залитый кровью Владик быстро поднялся и опять подбежал к Букварю: «Я повторяю, извинитесь немедленно». Голос его сбивался, похож был на один длинный всхлип. «Не,— опешил Букварь,— я его точно щас убивать буду». Но и второй удар, сваливший Владика с ног, не остудил Кузнецова. После четвертого в дело вмешалась оскорбленная особа — она взяла Букваря под ручку, слегка приобняла его за плечо, дабы остудить разбойницкий пыл, и сказала: «Пойдем, что ли, ты его и правда убьешь». — «А че, и правда», — согласился Букварь, и они удалились. Владик честно кричал им вслед, требуя извинений.

Рассказавший нам эту историю клялся, что

заметил на ступеньках кинотеатра лицо заинтересованного пацаненка, которого признал много лет спустя на фотографии в «Огоньке» в статье, посвященной «люберам», по специфическому строению надбровных дуг и особым образом оттопыренным ушам. Так что факты, как говорится, неоспоримые.

Но вернемся на первый курс. Кроме общей физической выносливости, презрения к роскоши, усидчивости и целеустремленности, молодой Кузнецов любил заявить о своем простом старгородском происхождении. Он говорил кратко: «Все мои предки землю пахали». Настойчивая отсылка к собственным корням (в середине семидесятых!), не вполне вяжущаяся, правда, с апокрифом дедовского разрыва со старгородскими лабазниками, так прижилась во Владиковом окружении, что дает нам, задумавшим донести до соотечественников жизненные очерки гениальных и вполне обыкновенных людей, так или иначе связанных со Старгородом, право включить в общий цикл поучительную историю кузнецовской биографии.

Как часто бывает, в дело вмешалась любовь. Стрела римского голопузого малыша пронзила Владика сразу после первой сессии. Тут, надо сказать, он не был одинок, более того, поглощенный собиранием материалов о Катоне Старшем, заметил Вареньку К. значительно позже иных сокурсников, к моменту Владикового прозрения уже охладевших к очаровательной, но несгибаемой юной искусствоведке.

Даже матрос Дьяковенко, занесенный в столицу рабфаковским набором с подшефных ко-

раблей Североморской флотилии, будучи в сильном подпитии, пожаловался своему другу Жене Раеву, происходившему из далекого Усолья-Сибирского: «Я ее взял за жопку, а она фырчать. Гнилая, конечно, фря, но я б ее трахнул».

— Это верно, Матрос, не по нашим зубам дамочка,— глубокомысленно согласился Женя Раев.

После такого замечательного заключения друзья отправились в общежитие биолого-почвенного отделения, в результате коего посещения и случилась знаменитая история с разбитыми окнами и погоней за тетей Клавой-вахтершей в голом виде с разряженным предварительно в стенку огнетушителем. История, как водится, наделала много шума, в результате чего матрос Дьяковенко, как к разрядке огнетушителя не причастный, отделался партвыговором с занесением в учетную карточку, а Женя Раев, к нечаянной своей радости, был выдворен в родное Усолье-Сибирское, где след его затерялся для нас навеки.

Но как вы уже догадались, не желая пользоваться сомнительной отсылкой к еще более сомнительному кумиру либеральной интеллигенции — доктору Фрейду, скажу просто — виной всему, конечно же, была Варенька К.

Происходившая из старой московской аристократической фамилии, столь созвучной простому русскому имени Варвара, в конце пятидесятых редкому и, конечно же, несшему потаенно-антибольшевистский смысл, в нынешние времена поменявшему, увы, свой знак-символ (или символ-знак? Нам, к собственному огорчению, приходится иногда прибегать

к выпренному словарю академистов вовсе, да поймет читатель, не из-за скудости родного и неисчерпаемо богатого языка, а скорее из-за упрямого следования тут же возникающей напевности интонации), итак, имя в нынешние времена... Да вы и без ученой этой ерунды все уже поняли, не так ли?

Варенька К.... Рыжая как огонь, стройная, спортивная, блестящая гимнастка, немного балерина, существо, притягивающее взор, манящее кокетливыми зелеными глазами, и... конечно же начитанная, свободно говорящая по-французски и играющая на фортепьянах. Наделенная недюжинными талантами и острой памятью, она, оказавшись раз на лекции по Истории КПСС рядом с Владиком, семнадцать раз подряд (!) выиграла у него в слова и четырежды в морской бой. (Лекции были спаренными, так что времени как раз хватило.)

Владик был уязвлен в самое сердце. Варенька торжествовала победу. Владик стал виться веревочкой. Подносить портфель. Да-да, как в пятом классе школы. Подавал пальто. Рыл землю и бродил допоздна под окнами большого профессорского дома недалеко от Университета. Нет, домой он не допускался.

Страдал ли он? На этот счет ходили разные версии — некоторые, завидуя, говорили, что Владик ищет дешевой популярности, но нам кажется иначе. Тем более что у историков курса, вероятно, сохранились неисчислимы страницы любовной лирики Кузнецова, ходившей по рукам и, конечно, достигавшей хороших ручек В. К. Заметили ли вы, что инициалы двух сторон совпадают? Этот факт почему-то

внушал Владиду наибольшую уверенность в победе.

Количество стихов росло в геометрической прогрессии. Особенной славой у злоязыких эстетов пользовались: «О ты, чьи волосы, как огонь костра, прекрасны», где «прекрасны» рифмовались поочередно с «напрасны», «ужасны», «красны» и «ясны»; «Как полководец перед битвою отважный», и более позднее «О, куртизанки римские...» (Тут заметим в скобках, что Владиду не отказать в даре провидения — Варенька ныне, выйдя замуж за левого радикала Витторио Мачини, живет в Риме, где, по слухам, преподает в иезуитском колледже русскую грамматику.) Матрос Дьяковенко был в числе немногих, кто, покровительствуя Владиду, находил его стихи красивыми, но никчемными.

— Старик, не даст она тебе, я точно знаю,— говорил он Владиду, приглашая его в гости к биолого-почвенницам.

Владик всякий раз отнекивался и направлялся напрямик под окна своей избранницы и музыки. Насмешек он как бы не замечал. Он умел бороться с общественным мнением, терпеливо приучая всех, или почти всех, к мысли о своей правоте; и, когда место под окнами занял новый безумец с мехмата, к тому же обладавший папиной «Волгой», кстати сказать, тоже отвергнутый и так и не допущенный на порог, большинство на курсе открыто сочувствовали кузнецовскому горю.

Тогда-то Владик и засел за курсовую, не вылезал из библиотеки, целиком погрузился в трактат Катона Старшего «О земледелии» и породил уже упоминавшиеся четыреста пятнадцать бриллиантовых страниц.

Лето после первого курса прошло под знаменем истории с газетой.

Курс отправили в археологическую экспедицию, где, по свидетельству очевидцев, Владик заслужил почетное звание «Бульдозер», срывая древние славянские курганы, не брезгуя при этом никакой работой. С удовольствием стоял он на отвалах, мерно двигая пустую землю, и там-то, на отвале, заработавшись, неожиданным ударом лопаты срезал себе кусочек кожи на большом пальце левой ноги. Это событие случилось на глазах у многих, так что свидетели, слава Богу, имеются. Крови на пальце выступило чуть-чуть, но, видно, сам неожиданный, коварный удар напугал, а точнее обескуражил молодого Кузнецова. Сперва, по традиции, он покраснел как маков цвет, но тут же принялся белеть, белеть, белеть и, окончательно белый, упал вдруг в обморок. Отвратительная беспомощность длилась считанные секунды, но стыда было Владiku не обернуться. Выдержка подвела его — вконец уничтоженный, он убежал в кусты и, вероятно, даже проплакал там от обиды, ибо, появившись к концу дня к грузовику, возившему студентов в лагерь, Кузнецов имел опухшие глаза, ярко-бордовые щеки и побитое выражение лица.

С этого момента начинается иной Владик Кузнецов.

С этого момента никому, даже вполне профессиональному матросу Дьяковенко, никогда (!) не удавалось переписать Владика Кузнецова. К концу практики цвет лица его все больше отдавал в фиолет, но и только-то — каждое утро Владик вставал всех раньше, чистил зубы,

делал гимнастику и принимался за бег. С потом выходило ночное похмелье, и днем Владик опять махал лопатой, теперь уже внимательно оберегая ноги, надев дедовы яловые сапоги. Пристрастие к военной форме, вообще-то модной среди студенчества, но модной как бы от противного, не по-военному нацепленной, особой расхлябанностью придающей носившим ее вид таких гусаров-молодцов, было не для Владика. Он одевал зеленое, затягивал ремень и портупею, крутил лихо портянки и с позорного момента кровопускания не расставался с тяжелыми сапогами, на которые рачительный дед прибил кавалерийские цокающие подковки.

Выпив, Владик любил порассуждать о победах русского оружия — кроме дорогих сердцу римлян, он любил еще и Суворова и особенно маршала Жукова, под началом которого служил обожаемый дед. При этом почему-то уважал Владик и Гитлера и выработал себе странное довольно приветствие — почти понацистски вскидывал руку при встрече, обязательно добавляя звучное «хайль». Подобное поведение, конечно, придало ему скандальной популярности, но Владик оставался по-прежнему демократичен, по-прежнему геройствовал в попойках и однажды, заметая следы очередного кутежа на первый попавшийся лист бумаги, здорово просчитался. Экспедицией, надо сказать, руководил профессор Локотов — большой педант и зануда, трагически пострадавший в последней войне. Девятого мая сорок пятого года фаустпатрон пацаненка из Гитлерюгенда попал в его танк, и будущий профессор лишился всего экипажа и своей правой

руки. Увечье сделало его нелюдимым, что, возможно, способствовало усидчивости, и к середине семидесятых этот честный по своему вояка был уже профессором, главой направления и особо прославился тем, что всегда в своих текстах заменял заимствованное словцо «керамика» на более звучное и простое сочетание — «обломки горшков».

Так вот, Владик, будучи в сильном подпитии, но крепко стоящий на ногах, выносил мусор на помойку. В дверях здания, а это была простая сельская школа, он, не рассчитав, столкнулся с входившим профессором. Капли красной жижи от обязательной в рационе выпивающих камбалы в томатном соусе, забрызгали профессору брюки. Пустая бутылка больно ударила по ноге. Владик поспешил ретироваться, но был зажат в угол разъяренным археологом.

— Это что? Это что такое? — бывший танкист почти в нос совал Владике лист бумаги, оказавшийся прошлогодней школьной стенгазетой. Ленин, глядевший из ее середины, был лихо порезан ножом — Владик делил луковицу — и омерзительно закапан все тем же въедливым соусом.

Дальше случилось непредсказуемое: Владик, рассерженный ли бесцеремонностью, ущемленный ли, будучи зажат в угол, или просто находившийся в мрачном расположении духа от принятого, вдруг оттолкнул светило науки о черепках и внятно и громко сказал ему: «А пошел-ка ты на хрен...»

Бывший танкист, надо сказать, спасовал и отступил — Владик с ревом просунулся в возникшую брешь в обороне и бежал к себе

на кровать, гневно процокав по кирпичному полу дедовскими подковками.

Результатом явилось персональное дело комсомольца Кузнецова. Надо сказать, что комитет комсомола истфака хорошо и давно знал коммуниста Локотова — профессор любил персональные дела, привозя их с летней практики иногда целыми пачками. Так что исключение, на котором настаивал бывший танкист, не состоялось — Владику впаяли выговор.

Кузнецов прокомментировал его непечатным выражением, выказав свое отношение к подобной комсомольской ерунде.

Событие сие, видимо, окончательно отвратило Владика от науки. Марк Порций Катон Старший, живший так давно, был забыт окончательно. Владик целиком погрузился в заботы по созданию собственной партии. Приветствие и форма были выработаны, идеология являла собой смесь катоновского высокомерия, простоты, прямолинейности и суворовского патриотизма, а также гитлеровской нетерпимости к евреям и армяшкам. Их, надо сказать, Владик научился не любить по подсказке матроса Дьяковенко, ушедшего к тому времени на кафедру истории КПСС. Североморец никогда не скрывал, что, закончив истфак, собирается вернуться на родимый флот, где с синим весомым «поплавком» рассчитывал хорошо пристроиться по политчасти.

Владик же выбрал борьбу. Уважая заветы дедушки, он, тем не менее, сетовал в своем кругу, что старик не все понимает как надо. Владику было мало суровой правды, он, как и любой другой русский человек, жалел

подъяремного крестьянина и, мечтая о раскрепощении его, продолжал строить планы по созданию партии нового типа.

Вокруг него появились два телохранителя — Коля Большой и Ступнин (из бывших подмосковных дворян), — невесть с каких факультетов им отысканные. Эта троица располагалась теперь завсегда в университетской пивной и агитировала бесстрашно (и ведь это не теперь — в середине семидесятых!), и, бывало, подкрепляла свои аргументы кулаками. У Коли Большого, надо отметить, и кулаки были большие.

Что теперь удерживало Владика на факультете? Кажется, только одно — военная кафедра. Да-да, такой уж он был — вечно плывущий против течения, энергичный и упрямый.

Припоминается такой случай.

Группа студентов во главе с майором Бородиным, известным либералом, где-то высоко летавшим, но после проштрафившимся (поговаривали, что теперь майорская звездочка — его потолок), отличным военным переводчиком, замеченным даже в чтении Сэлинджера на английском (!) в метро при подъезде к Университету, так вот, группа студентов, как всегда, расположилась слушать рассказы майора о его необычайных путешествиях по свету. Делалось это всегда одним проверенным способом. Вместо того чтобы зубрить скучный текст об американских ракетах «Минитмен» и «Полярис», кто-нибудь из любимчиков задавал, например, вопрос: «Товарищ майор, а вы не знаете, подводная лодка видна с самолета?»

Майор Бородин откидывался на стуле, изучал аудиторию и, видя, что все действительно

намерены слушать, начинал приблизительно так: «В Красном море, дорогие мои, есть такие гигантские ракушки (далее следовало незапоминаемое латинское название). Так вот... когда вы плывете, допустим, на небольшом десантном катере, то вид такой лежащей на дне ракушки очень походит на абрис подлодки противника, идущей под перископом, с борта, допустим, патрульного вертолета».

Так было и в этот раз — аудитория напряженно слушала рассказ майора об отличительных чертах эфиопок (в сравнении с сомалийками), когда в одном пикантном месте рассказ был прерван мерным бумканьем строевого шага. Кто-то тренировался в коридоре. Этот кто-то двигался издалека и, кажется, приближался. Как гурман недоуменно поводит глазом в поисках не поданного к жареным улиткам соуса из чеснока с майораном, так приблизительно изобразил удивление в связи с шумом деликатный майор Бородин. Грохот шагов меж тем увенчался командой: «Приставить ногу», с отчетливо выделяемым последним щелчком каблучков. Далее глубокий Владиков голос раскатило произнес из-за двери:

— Товарищ майор, разрешите войти?

Майор Бородин немного приподнялся над стулом и, озабоченно глядя на дверь, ответил близко к уставному:

— Войдите, разрешаю.

Дверь распахнула крепкая рука — Владик зашел, нет — вошел в пролет, педантично затворил за собой классную комнату и, тяня носок и отщелкав пять метров, замер перед стулом преподавателя по стойке «смирно».

— Товарищ майор, разрешите обратиться?

— Да-да, конечно,— Бородин дал понять, что не желает продолжать игру.

— Товарищ майор. Товарищ подполковник Передистый просил меня информировать вас о том, что звонила ваша супруга и просила вас позвонить домой после окончания пары. Разрешите идти?

— Спасибо. Идите.

Лишь когда звук сапогов растворился в тиши коридора, майор отважился спросить:

— Кто это?

— Кузнецо-ов! — хором рявкнула аудитория.

— Ну-ну,— майор покачал головой и вскоре продолжил свой познавательный рассказ.

Признаться, мы б могли повествовать о Владике, но трагичность ситуации в том, что нельзя, нельзя ни в коем разе сползти нам в анекдот, вляпаться в несерьезность,— слушайте, мы же доносим реальные данные о реальном лице, и это должно как-то даже высветить момент. Поэтому будем коротки. Конечно, всегда есть в запасе разные случаи из его биографии — обширной и нетривиальной, и как тут не вспомнить о лагерях.

Сколь много удивительного фольклора порождают военные лагеря! Одна только песенка: «Мы за мир, но наши автоматы не дают забыть, что мы — солдаты!» Одна эта песенка, зародившаяся где-то в окопе полного профиля под скрежет наезжающей БМП «синих»... Ах, эти песни, эти песни... все они — часть одной системы...

Ну да ладно, вернемся же и к Владиду. Вспомним, как он опоздал на сборы. Опоздал, имея право на опоздание! Группа древне-

мирников ездила отдавать студенческий привет дружественным лейпцигским театрам. Наши ребята получили по такому случаю официальное разрешение от самого начальника военной кафедры опоздать на три дня, но Владик... Он сбежал с вокзала, он добрался до места дислокации палаточного городка немедленно! Он даже не заехал к дедушке. Он так спешил, что, боясь пропустить поезд, не стал искать парикмахерскую и, уже в дороге на сборы, воспользовавшись вагонным туалетным зеркалом, стоя в тряском сортире, безопасной бритвой, на сухую, оскоблил себе голову! Попробуйте-ка сами повторить этот спартанский поступок. Голова курсанта Кузнецова... Господи, да когда матрос Дьяковенко под общий хохот в палатке добривал бедного мученика... непохмеленная рука североморца дрожала, а в глазах застыл ужас, отвращение, сострадание — как это все передать, нет, никак этого не передать словами. Владик скрипел зубами — но молчал, рука матроса дрожала, но новых порезов не нанесла — она оказалась очень ласковой, эта видавшая виды рука.

Но дальше, дальше — читатель, вы нам не склонны верить, мы чувствуем это, отсюда и постоянные ссылки — есть, есть свидетели, их целая рота, да что там — батальон! Ибо кто не знал на сборах, как с первого же дня прибытия в часть боролся Владик за место почтальона! Как, раньше всех вставая, бежал к шлагбауму, брал скатанные в рулон газеты и доносил их бегом до офицерской комнаты. Ибо... Вы догадались? Держим пари — вы не догадались: Владик радел за место почтальона ради ефрейторской должности, ради

права нашить на чистый погон одну золотую полосу, ради права сравняться в строю с ветеранами. Неважно, что после сборов всем без исключения присваивались две лейтенантские звездочки. Неважно! Владик следовал заветам деда, Владик... У кого поднимется рука... кто посмеет назвать его непоследовательным, да и где сегодня найти примеры такой стойкости? Где? Старгородцы они такие — надеюсь, вы понимаете?

А случай с генералом? Случай с генералом-инспектором, что приехал в расположение части, с генералом, которого ждали два дня и две ночи. И оба эти дня, самую жаркую часть суток, Владик стоял на посту у грибка, добровольно вызвавшись нести тяжкое бремя солдатской жизни. Он мечтал быть замеченным. Он мечтал, но... (правда! правда! правда!) желудок подвел его — он нашел подмену — на пять минут! Но их-то и хватило. Владик из кустов наблюдал за генералом, он смотрел, как генерал в окружении свитских офицеров беседует с подменившим его Мелконяном, с Артурчиком Мелконяном, проигравшим матросу Дьяковенко «подсменку» в тюремное око. Владик стоял в кустах и, по свидетельству очевидцев, жрал ногти.

Начальству донесли о его переживаниях — Владик был особо отмечен на последней линейке и, возвращаясь домой в электричке, был излишне возбужден.

А как Владик наказал боксера академика Бойцова? О, это особый случай! На последнем курсе Владик подобрал где-то около «Безрукого» дворняжечку. Она была уморительное существо, привыкшее допивать пиво за сер-

добольными клиентами этого университетского заведения, умела стоять на задних лапах и, видимо, когда-то имела косвенное отношение к болонкам. Имя притом собачка получила крепкое — «Туз». Пытающиеся сюсюкать, называть песика Тузик или Тузичек, получали решительный отпор — мощный горловой голос Кузнецова прерывал их немедленно: «Собаку зовут Туз, ясно?» После чего из-за Владимировой спины обычно выставлялся Коля Большой, и... все кончалось мирно или не очень мирно — смотря по обстоятельствам.

Итак, Владик стал обладателем Туза, семенившего за хозяином повсюду и преданно ожидавшего своего властелина на газончике около здания гуманитарных факультетов. Они были неразлучны. Они ездили в электричке домой — для Туза был заведен специальный транспортный рюкзачок. Высовывающаяся оттуда мордочка выглядела так умиительно, что неизменно вызывала восторг, и никогда, заметьте, никто не сказал ничего предосудительного об этом замечательном существе.

И вот — случилось же такое.

Владик прогуливался около главного здания МГУ вместе со спокойно семенившим Тузом. Параллельным курсом с собакой прогуливался академик Бойцов — основоположник советской индологии, выводящий происхождение славян из недр Индостана. Академик находил тому много доказательств. Интересующихся проблемой всерьез позволим себе отослать к его научным трудам, список коих помещен на последних страницах памятного сборника «Академику Бойцову 80 лет». Итак, ничего не предвещало трагедии. Хозяева и собаки шли

на сближение, как вдруг огромный боксер Пра-на академика Бойцова в один прыжок подско-чил к бедному Тузу и, представьте себе, без предварительного обнюхивания перекусил ма-лышу лапу. Владик, как рассказывали очевид-цы, не растерялся. Он бросился к университетс-кой изгороди, вырвал копые — да-да! — чугу-ное копые изгороди (плохо ли оно было приварено, хорошо ли — не знаем) — только... Этот воспитанный в римском духе солдат не дрогнул — боксер был проткнут и издох тут же, на руках у онемевшего сперва академика. Далее академик бежал, бросив на поле боя бездыханный остов любимого пса, а за ним до самого подъезда неся тяжеловооруженный го-плит, размахивавший окровавленным копьем. Копье это потом, в припадке справедливой мести, сокрушило ни в чем не повинную те-лефонную будку.

Что сказать больше? Владик успел сориен-тироваться и ускользнул от наряда милиции, Туз тоже куда-то сгинул, и дальнейшая его судьба неизвестна, знаем только, что Владик очень переживал пропажу и даже вынашивал планы поджога бойцовой дачи.

Вообще на последнем курсе Владика пре-следовали несчастья. Перед самым дипломом в госпитале ветеранов войны скончался старый Кузнецов-дед. Владик остался один в двухком-натной люберецкой квартире. Смерть деда он пережил тяжело — ездил летом на шашку и поставил деду памятник с пятиконечной звез-дой, как тот просил и как полагается ветера-нам всех сражений советской истории. Есте-ственно, что отпевания никакого не было, но почему-то Владик заказал на Ваганькове Соро-

коуст. Диплом он защитил уже кое-как — после смерти деда он, говорили, крепко запил, отработал по распределению несколько месяцев в люберецкой школе, но был выгнан по печально известной всем инакомыслящим тех лет статье о «профнепригодности».

Потом след его надолго затерялся. Кто-то встречавший его говорил нам, что Владик приходил в военкомат — просился в Афганистан, причем предлагал тамошним военным свой план ведения боевых операций, но не прошел медкомиссии. Где-то он мыкался все эти годы, как историк, конечно, не работал. Видали его в начале перестройки на Пушкинской площади — одного в толпе, яростно спорившего с наседаящим людом. Видали, да побоялись подойти.

Последним, кто общался с Владиком Кузнецовым, был Большой Коля, работающий теперь зам. директора по строительству в Новой Третьяковке.

По его сведениям, почерпнутым из захода в Богоявление в Вешняковскую церковь (вообще-то Коля ходит ко Всем Святым на Соколе, в Вешняках же проживает его теща),— Владик работает там звонарем.

Он похудел, осунулся, ходит в простеньком пиджачишке и вечных сапогах, не бреет бороды и усов, отпустил шевелюру, выпивает, но умеренно (по определению Большого Коли), и собирается в ближайшие месяцы в Печоры — поучиться у тамошних звонарей старинным звонам.

НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ

1

«Жизнь, особенно у переваливших за тридцать и далее, бежит стремительно, подлаживаясь, вероятно, к скоростям века, и нет ведь свободной минутки, чтоб за просто подойти к незнакомцу и сказать, глядя ему в глаза, что-нибудь нетривиально-приятное. Нету этих минут, а если и выдаются, то тратим мы их как-то не так, как хотелось бы в мыслях. Заговорили тут о милосердии, и многие записываются в возрожденные общества друзей животных, гневно осуждают изуверов собачников, а готовы ли они на поступок, пускай скромный, незаметный со стороны? Готов ли я сам протянуть руку помощи бездомному незнакомцу или, на худой конец, несчастному приезжему — вон тому, например, краснорожему детине с коробками, что расположился в скверике на скамейке?..»

Так или приблизительно так рассуждал человек Рафа Стонов, обыкновенный совслужащий, инженер-дорожник. Рафа всегда мечтал возводить большепролетные мосты и сверхскоростные туннели, но так пока, по стечению обстоятельств, и не возвел ни одного, временно задержавшись в отделе асфальтогудроновых покрытий. Разрабатывал он, правда, принцип бетонирования поверхности и даже защитил лет двенадцать назад кандидатскую (разработку его до сих пор внедряют в производство на опытном полигоне родного НИИ). Но Рафа верил в прогресс. В человечество он тоже верил. И если порой нападала на него российская тоска, вероятно, связанная не только с обследуемыми дорогами, то случалось это не реже и не чаще, чем с другими.

В такие минуты Рафа думал о чем-то сложном. Объяснить это чувство может только меткий анекдот, впрочем, оно, вероятно, знакомо моим уважаемым соотечественникам: жизнь вдруг начинает казаться пронзительно ненатуральной, и хочется чего-то, виданного только в детстве, да и то один раз через случайную заборную щелочку.

Поэтому, возвращаясь с субботней прогулки домой в состоянии сложного душевного волнения, Рафа прямо-таки заставил себя приглядеться повнимательней к выбранному произвольно краснорожему детине с коробками, вызвавшему сперва неприязнь, разбавленную некоей долей любопытства и сострадания.

Детина, явно не москвич по одежде и тщательно скрываемому чувству собственного достоинства, озабоченно озирался по сторонам,

проявляя признаки контузии, заработанной в столкновении со столичной действительностью. Он то порывался встать и обхватить весь свой груз разом, что ему не удавалось никак, хоть и был он ражий, широкоплечий и, что существеннее,— на удивление широколапый, каким, скажем, представляется обычно коренной сибиряк-медвежатник, потомок тех мужиков, что спасли осажденную Москву студеной зимой 1941 года; то, свирепо матюгая поклажу, садился на скамейку и обращался к прохожим с вполне риторическим вопросом: «Ну, и как мы с вами жить-то дальше будем?»

Люди, понятно, предпочитали обходить его стороной.

А вот Рафа отважился и подсел. Дитина приветствовал его незамедлительно.

— Остался, понимаешь, со своими девочками на бобах. Билет на завтра, а ночевать негде. Выручай, браток, а то пропадем, как, значит, швед под Полтавой.

Рафа молчаливо улыбнулся, не спеша все же оказывать исконное российское гостеприимство, хотя внутренний голос начинал убеждать его, что дитина совсем не так опасен, как кажется на первый взгляд.

— Поясню, значит, диспозицию,— продолжал красноречивый, чуть умерив пыл.— Приехал в столицу по делам куриным. Ты, брат, не удивляйся, мы, куроводы, все немного чокнутые. Мне, скажем, только свистни, что в Таллине есть продажные кохинхинчики, так я тут же срываюсь. Бухара, Владивосток — мы за деньгой не постоим, как в песне поется. Так вот, заблаговременно купив обратный билет,

попал в минор после молниеносно проведенной операции. Нет, ты глянь, глянь в коробку, а то ведь не понимаешь же ничего, по глазам вижу — не понимаешь!

Он приоткрыл в одном из ящиков вырезанное окошечко, и Рафа вежливо наклонился поближе. Из дырки выглянула кокетливая головка существа, похожего на помесь карликовой цапли и почтового голубя, томно повернулась, демонстрируя себя, и спряталась внутрь ящика.

— Ну, видал такое, а?! По глазам просекаю, что не видал! — Лицо у детины расплылось в ребячьей улыбке, развеявшей остатки Рафиной нерешительности.

— Так приютишь на ночку, да? Мы с девчонками тихо, ты не бойсь — порядок гарантируем. Если что, бутылка у меня имеется, но сам не пью — в завязке, — детина для пущей уверенности похлопал по объемистому портфелю. Потом детина поднялся со скамейки, но тут же хлопнул себя по лбу:

— Во, дурак, забыл — Вовочка я.

Рафа протянул руку и представился интимно: — Рафа.

Он не любил своего полного имени Рафаил. Будучи по воспитанию человеком современным, он часто поминал родителей, наградивших его таким старорежимным именем.

— Еврей, что ли? — некорректно, но как-то весело тут же спросил Вовочка.

— Нет, почему... — начал было оправдываться Рафа, но новый его товарищ лишь хлопнул его по плечу и с гоготанием пояснил:

— Это я почему спросил, что имя у тебя еврейское. Мне ведь все равно, что грек, что

татарин, что еврей,— я, брат, людей-то нагляделся. По мне, был бы человек хороший! Ну, взялись, что ли?

Польщенный удивительным совпадением взглядов и от того разом повеселевший, Рафа смело схватился за коробки.

Странно, он был абсолютно уверен, что и жена, и девочки будут рады незваному гостю — такого приключения с ним никогда еще не случилось.

2

Семью Вовочка покори́л с ходу, и скоро Рафины двойняшки носились по коридору с чайником, блюдами, подливая курочкам воду, и все в двухкомнатной квартире охало и веселилось. И было от чего.

Слышали ль вы о черной броне, мохноногой, как призовой турман, большебокой и важной, добродушной и умиротворенной, как деревенский батюшка? Или о карликовых кохинках — взрослых цыплятах, что галдящей стайкой зажалась под креслом? Или о пушистых, важно ступающих, хохлатоголовых и кокетливых падуанцах, тех, что больше похожи на помесь карликовой цапли и почтового голубя? Или о пестрых, поджарых, налитых силой орловских бойцовых — красе и гордости истинно российского куровода? Большинство и не подозревало об их существовании, как Рафа, например, пока не узрел их в своем же собственном доме!

Воздух в квартире, правда, наполнился чем-то неистребимо птичьим, паркет и ковровые дорожки покрылись россыпью мокрых опилок,

а на уровне носа замелькали мелкие перышки, но ради такого чуда стоит терпеть. К сожалению, и форточку нельзя было открыть более чем на четверть часа (инструкция!), и впопыхах расколотили любимую женину чашку, пытаюсь срочно столочь в ней антистрессовый порошок из аскорбинки с глюконатом кальция, за которыми девочки мигом слетали в аптеку... К сожалению, и на курочек-то не пришлось поглядеть так долго, как хотелось,— Вовочка, проделав с подкупающей нежностью вышеуказанные манипуляции, принялся рассаживать своих красавиц по коробкам и, аккуратно их перевязав, задвинул в темный угол.

И тут-то, загнав в последний ящик сухоногую орловскую парочку, он вдруг схватил третью курицу и бросился к окну так стремительно, словно намеревался с ней вместе выпрыгнуть с семнадцатого этажа.

— Рафа, Рафа, уведи девочек, я буду мотаться,— завопил он, вертя странно присмирившую королеву и тщательно разглядывая ей лапки, клюв, голову и гребешок. Девочки, прыснув для приличия в кулачки, убежали к матери на кухню, и Вовочка, задыхаясь, объяснил испугавшемуся Рафе причину волнения: — Надул, сучий потрох Москалев, надул, больную подсунул. Подменил, когда я машину выходил на шоссе искать. Теперь ведь не выведу, двух для породы мало — мало, понимаешь, надо же кровь мешать. Ну, гад, ну, погоди ж ты! Ведь специально, специально предупреждали же меня — потомственный куровод!

Он даже ногами топал, грозил в другой раз извести весь москалевский курятник мышьяком, а после, печально возлежа в кресле, сам

пытался себя как-то утешить. Чувство гордости и счастья от сбывшейся наконец мечты пересиливало.

В конце-то концов парочка орловских досталась ему преотменная. А там, глядишь, еще прикупит — в Риге есть орловские, он знает точно, сегодня утром у Птичьего рынка один специалист дал ему адрес в обмен на информацию об имеющихся в Ленинграде каких-то там голландских кильзуммерах, если Рафа правильно понял название невиданной породы.

Вовочка снова достал пестрого петушка и курочку и, поглаживая им зоб, шейку, разглядывал их мраморные крылышки, сокрушенно вздыхал.

— Нет, ты заметил, всего два цвета, а третий, третий — изумрудно-зеленый, павлиний, исчез, только несколько редких перьев в хвосте осталось от предков. Но именно они-то и вселяют надежду, нет, что там, сушую уверенность, что я добьюсь, добьюсь, восстановлю исчезнувшую российскую породу. Ах, Рафа, Рафа, зря ты улыбаешься, браток, это от глупости, от незнания — в прошедшем году, в Италии на аукционе, за гнездо стабильных орловских отвалили два с половиной миллиона долларов! Слышал про такое, а? Нет? То-то же! Не за рысаков, не за лошадок призовых, а за четверых курочек и петушка, и нечего изумляться — нет, ты на них погляди, погляди, ирод. Настоящая курица — это почище книг будет, что ты на макулатуру сменял, это — симфония! Живое существо! А орловские — наша гордость национальная, их еще на птичниках самого графа Орлова вывели — того самого, что рысаков сотворил, и были они

посильней да позадиристей любого кокандца или бухарца. А сейчас их и в Азии не осталось — настоящих, трехцветных, а ты говоришь — сумасшедший! Да все люди стоящие — с «приветом», иных-то я и не признаю.

Он поднялся с кресла, поочередно щелкнул по носу девочек, и они с Рафой принялись выдвигать на середину праздничный стол. Затем появился объемистый портфель, из него извлечена была поллитра «Российской». Другую, с завинчивающейся пробкой, Вовочка только показал.

— А это, брат, проводникам в поезде — народная дипломатия!

Как бы пояснил, что не жмотится, не таит-ся, но приберегает для дела.

Рафа сочувственно кивнул, а Вовочка еще и прибавил:

— Не бойсь, тебе хватит, я ж не пью почти.

— Да я, в общем, тоже,— признался Рафа.

— Ну и ладушки,— кивнул Вовочка.— Но сто пятьдесят-то пропустишь обязательно? — Он загоготал и принялся тискать Рафу, выражая свою любовь, и, предвкушая пиршество, смачно зачмокал губами.

Галя ради такого случая зажарила курицу, открыла банку грибов, нарезала сала... и вот уже сидят вокруг стола, и Вовочка священнодействует, режет курицу, отрывает запекшуюся в сметане кожицу и делит — всем поровну, сопровождая колдовство своими бесконечными прибаутками.

— Ешьте, ешьте, доходяги, в другой раз привезу вам своего гуся холмогорского, запечем его с антоновкой!

Он разлил Гале и Рафе водку в хрустальные

рюмочки и, поколебавшись, налил и себе целый стакан.

— За знакомство да чтоб отойти немного — пояснил он.— Никак я Москалева-змея забыть не могу. Нет, как обманул, а? Ну, давайте, ребята мои милые, вперед и с песней!

Он поднял стакан и выпил смачно, одним залпом.

— Всё! — с кряканьем перевернул стакан вверх дном.— Ты, Галя, уж извини, что я так по-шоферски, но я вообще-то не пью. Это от нервов.

Рафа и Галя звонко чокнулись хрусталем. Господи, подумал Рафа, как же удачно я его подцепил! Дурак сказал, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным, истинный дурак какой-то!

Мысли скачут, Вовочка балагурит — его нельзя удержать. Сидит себе за столом, что император на пиру, подливает хозяевам по маленькой, а уж рассказывает — обхохочешься! И не воспроизвести его рассказ здесь никак нельзя.

3

Я в свое время попил, можно сказать, вволю. Сейчас-то, при курах, я редко себе позволяю, с ними, сами понимаете, не соскучишься. В полпятого подъем, туда-сюда, уже на автобус надо бежать, на завод, а со смены — снова к клеткам. Зойку я к ним и близко не подпускаю: девки, бабы — не народ.

Говорить ведь я могу бесконечно, меня мать, бывало, слушает-слушает, потом плю-

нет, ногой разотрет и в избу — скрываться от меня, значит. Но если надо, я ее и там достану, особенно если под мухой. А нет — иду к поросяку своему, Борькой я его прозвал, наливаю ему в корыто фугас, себе такой же, и смотрю, как он это дело поглощает. Чистым я его алкоголиком сделал. Истинно мне верный был друг. Брат, бывало, младший подгребет: «Вовка, налея-ка». Ну я его и налажу, пускай у бабы своей просит, а я лучше с Борькой поделюсь, брат меня, как подохнет, утомлял очень. Зу-зу-зу, зу-зу-зу, а я и сам такой, кой мне леший он сдался! А с Борькой — красота: усядемся друг против друга и молчим, а то я ему бок чешу, а он знай себе похрюкивает. А когда за пивом с ним ходили, мужики всегда расступались — знали нас: «Вовочку с компаньоном пропустите!» Гогочут, а мне хоть бы хны, а Борька сзади похрюкивает радостно, знает, что ему достанется. И, верите, кружку хоть бы раз пролил; так он с ней ловко расправлялся — беда! Когда его резать — я из дому ушел, не глядеть чтоб, а к салу и не притронулся.

Это, помню, хохлы раз со мной пиво пили, говорят, гляди-ка, ребята, как тут порося растет, специально небось с пивом-то, чтобы сала было много. Ну как им втолковать, сами, говорят, свиней навозом кормят для жиру. А Борька под конец, и верно, раздобрел что сом, все больше лежал да на меня поглядывал.

А у меня всегда, сколько помню, живность не переводилась. Фоксика, было дело, мне кореш подарил. Бери, говорит, Вовочка, мне-то он на кой, я, говорит, о тебе и думал, когда его около магазина отвязывал. Ругайка я его прозвал — брехун был и верный сторож — чужих

ко мне не подпускал. Мать, бывало, его клеймит, а он зубы только скалит — я же в сараюшке лежу, сплю, снегом меня через дверь припорошило, мне что, килограммы да тулуп греют, хоть из пушки под носом стреляй. Мать и так и сяк, а Ругай не подпускает — знает: надо Вовочку сторожить. «Что ж ты, сукин сын, я ж тебя кормлю?» — А он «гав-гав» да хватить ее за палец. И коромыслом не отогнать было — бойцовая псина. А после, ребята говорили, бичи ее съели, что мост у нас строили. Ну, да я не поверил, пока сам на этот народ не поглядел. Но это — потом, я сперва жениться удумал. Молодой еще был, дурень, котелок-то от вина совсем был пустой.

Тут я с тещей лихо повоевал. С дедом, как подошьем, мир, а как я один, так и он скалиться начинал. Я же к ним переехал в город, в квартиру их вэцэспесовскую. Все сперва чин чинарем, а потом благоверная моя стала на сторону глядеть. Ладно, думаю. Хотел ее к делу приучить. Взял как-то у дружка, он на мясокомбинате работал, двух ягняточек черных, думал — либо вырастим, либо ей же, бабе, воротник сошьем. На комбинат овец пригоняют, и они там прямо и котятся, — вот дружок мне их и вынес. Я их в коробку затолкал, еду в автобусе. А они — б-бэ-м-мэ, жалобно так скулят из коробки. Мне гражданочка одна и говорит: «Что это у вас?» Жена, отвечаю, нежелательных двойняшек произвела на свет, еду в пруду топить. Ее как ветром сдуло.

Вот и отлично — сел в кресло, сплю почти, а все кругом: «Шу-шу-шу да шу-шу-шу».

Приехал, значит, домой, а мои уже залегли.

И я завалился. Дед ночью встал водички попить и тещу как по тревоге будит — решил, что до чертей допился: «Звони, говорит, в «Скорую!»» А той тоже невдомек. Так до утра и просидели в своей комнате, как сычи, глаз не сомкнули. А уж утром — скандал. «Весь пол в горохе овечьем, палас обмочили!» — вопят в три дуды. Ну, я плюнул на них, забрал овечек и домой, к матери подался. Больше их и не видел, и на развод не пошел — мне эти повестки, шли их хоть сотнями, я их все в печку совал. А в милиции у меня свой человек — Колька-лейтенант, мы с ним еще в школе учились. Так он все меня уговаривал — езжай, Вовочка, куда-нибудь, займись делом, а то тут совсем с круга сопьешься, ты же мужик головастый, а про бабу свою забудь и думать. А что головастый, я и сам знаю — в школе по математике первый был, да и сейчас для меня любой станок не секрет, тут ведь не в разряде дело, а в башке, а у меня балда на плечах, слава Богу, никогда не подводила.

Колька-лейтенант часто меня так уговаривал. Раз — ой, это смешно — забрались мы ко мне в сад, легли под смородиновым кустом и лежим себе. Он мне мозги вправляет и заодно, ведь парень он что надо, за мной поспекает: мы, значит, ягодку оторвем, язычком ее попридавим и глоточек пропустим, и снова ягодку — хватать! Их, кустов-то, поди, тридцать штук у мамы было. Благодать!

Смотрю, вдруг ноги идут за забором.

— Коля,— шепчу,— хвост плывет.

И верно, Филька Волков тащится, он иной раз на халяву любил выпить. Но тут... Идут, как доминина «пусто — один» — в одной руке

помазок намыленный, в другой — бритва, а голова — сущий Фантомас: глаз левый заклеился, а волосье все зеленое-зеленое, ссохлось уже. Это баба его ему банку нитры на голову вылила, когда он у баньки спать растянулся. Очнулся он, значит, и ко мне, когда сообразил, в чем дело.

— Вовочка,— ревет,— брей скорее! Я стерплю, Вовочка, все стерплю.

Мы ему, конечно, два стакана сразу вместо анестезии, и пошел я ему скальп сдирать. А краска-то пристала! Отшкрябал я его, затем в керосине купал, купал... но зелень здорово въелась в кожу, долго еще меченый ходил. С тех пор стал он Крокодилом, а то как человек был — Филя Волк! Тут как-то встретил его, вспомнилось, рот уже до ушей, а он: «Вовочка, молчи, молчи,— шипит,— ребята забыли!»

Я, честное дело, и промолчал.

Весело жили, но послушался я, дурень, Кольку-лейтенанта своего, записался в геодезию и укатил на Таймыр. Вот уж там жизнь пошла так жизнь! Два у меня там друга было — тоже Вовочка, Парашютист его звали, и Колька Белокурый — то ли вепс он был, то ли карел, пожалуй, что и карел,— вепсы, те позлее будут. Колька маленький такой, мне до плеча не доставал, но мужик шухарной и здоровый, как из гранита рубленый. Волосы сверху-то на балде гладкие — это от шапочки, в зоне ведь и не снимал ее, а ниже, по плечам, кудри, что у девицы. Бабка одна его за попа приняла — «Батюшка...» «Да какой я,— говорит,— тебе батюшка, батюшки все на Соловках в земле захоронены». Лихой был мужик. Втроем-то мы все и гужевались, и очень нас за

то уважали и побаивались. Колька, я ж говорю, как гранитный был, руки-грабарки те еще, намахался топором на повале, да и на вольняшке он из леса не вылезал никогда. А на маршруте мог без остановки пятьдесят километров отмахать, что твой призовой жеребец. А Парашютист — тот иное дело, он у нас всему был голова, умный был мужик, а вот балда-то у него тряслась и глаз левый примаргивал — допрыгался. Сколько уже, я и не знаю, он с парашютом своим сигал — тут и не такой еще тик зарабатываешь. Они же, парашютисты, навроде нас, куроводов, все пришибленные, фанаты, одним словом. Втроем мы и жили в балке, одной коммуной, и никто к нам нос не совал — знали, чем дело может кончиться. Я ведь в те времена чистого весу тоже девяносто пять кил имел, и ни граммулечки жиру, это теперь я зимой расплзаюсь, а к лету, как вся эта кутерьма с живностью начинается, опять в норму прихожу.

И вот Вовку того я по-глупому упустил. Я в тот месяц домой в Арзамас летал, а они там оставались. Белокурый, черт, в маршрут почему-то не подписался, были, видно, денешки, а Вовка пошел.

А реки там разливаются дай Боже! Ну, подошли они к речушке, а она несет. По инструкции-то надо было фал страховочный натягивать, но никто их никогда не натягивает. Словом, нашли мы его через месяц только. А что там в цинковом гробу — глядись в это окошечко, растирай его лапами. Вот так, и без всякой водки, без грамма алкоголя, на маршруте ведь по полгода, бывало, не принимали, отдал жизнь свою драгоценную.

Тогда вдвоем с моим Карелом лихо мы загуляли — тысячи две вмиг спустили. Сидим как-то и думаем, как нам жить дальше? Вино там в трехлитровых банках продавали, а у нас одна банка на двоих всего, а что она нам. Сидим, значит, около магазинчика, смотрю, цыган на лошади верхом едет. Я Кольке и показываю — во куда их заносит, окаянных.

— Это,— отвечает Колька,— нам сам Николай Угодник пособляет. То, что нужно.

Подзывает цыгана, и с ходу за рога — хочешь, говорит, твою лошадь одним пальцем подниму, спорим на пять банок?

Цыгана упрашивать не надо — ему же интересно, да и народ подвалил, кучкуется, ждет, когда театр начнется. Я и сам во все глаза тарашусь — Карел-то мой, думаю, блефует по-чистому. Но не таков мужик был. Подлез он под лошаденку, что-то ей пошептал из-под низу-то, и брюхо все оглаживает, а как нашел точку, вылез, стал рядом да как тыкнет своим пальцем, а он у него что гвоздь был. Лошадушка, верите ли, нет, так вся и приподнялась, не на дыбы там, не лягаться, а, как была, вся четырьмя своими копытами от земли и подлетела, а уж Белокуруму осталось только палец подставить да на землю ее опустить.

Цыган без слов — шась в магазин! Глядим, тащит пять банок, ставит их на травку, и к Кольке. «Покажи место, я тебе еще десять банок куплю».

— Нет,— говорит Белокурый.— Давай для ровного счета сто рублей — покажу!

Цыгану не жалко, уже вообразил, как он табор свой разденет догола. Полчаса под лошадью ползали, всё брюхо ей истыкали, не

выходит у цыгана, а у Кольки снова — аж зависает бедная. Так ни с чем и уехал коновод. Смурной такой уехал, а куда же денешься — prospорил.

Ну, мужики нас обступили, тары-бары, все пять банок и испарились. Побрели мы в ресторан. А в этой Усть-Тарее, чтоб ей провалиться, одна забегаловка всего и была. Либо наша фактория гуляет, либо офицерики — гарнизон там стоял стройбатовский. Мы-то скромненько расположились, все больше молчком, а солдатушки загуляли. Вдруг один вынимает пистолет, и как пошел пулять в воздух. Это потом мы сообразили, что раз не вжикает — значит, сигнальный, а тогда вой, ор, бабы заходятся, тарелки со столов веером, ну мы и пошли порядок наводить. Пока лейтенантика мясили да вязали скатертьми, официантки быстро в комендатуру позвонили, вызвали дилижанс. Всех нас туда загребли вместе со стрелком попутанным, а уж в крольчатнике — его в одну сторону, нас в другую. Нас четверо было мужичков, а их в комнату, глядим, набивается да набивается. Ну, решаю, Вовочка, сейчас будут тебя распрямлять — жене, значит, от получки привет передай, а сыну отдай бескозырку. Собрался уже погибель принять достойную, как Карел мой, он ведь маленький, выныривает из-под моего локтя, подходит к ихнему капитану и говорит: «Слушай, друг, хочу одну вещь тебе напоследок показать. Есть у кого-нибудь пятак?»

Нашли ему пятак, а он его в зубы взял, зажал так, как в тиски, и пальцами — верть-верть — и завертел штопором. Отдал капитану на память и говорит так внятно-внятно:

«Имейте в виду, ребята, что вот так же я люблю и лопатки заворачивать». И скромненько на место водворился.

Ему, естественно, не верят. Еще один дали — он и из него бантик изобразил. Гляжу, офицерики расцвели, что примулы на клумбе, повели нас к себе, угостили, и расстались мы с ними лучшими друзьями — люди оказались хлебосольные и воспитанные.

Да...— Вовочка оглядел давно уже отвалившихся от стола Рафу с Галей.— Вы ешьте, ешьте варенье, ироды, а я все больше по чаю — соскучился по индийскому, у нас его только на Октябрьскую подкидывают. Славно попили, было времечко. Потом уже заскучал мой Карел и подался куда-то под Петрозаводск, домой. Звал меня с собой, но я не поехал, я к себе в Арзамас махнул. Так и расстались, больше я о нем не слыхивал, может, опять сидит, а может, женился, охота нам было с ним поутихомириться, такое же только по молодости да с шальными таймырскими денежками отчубучивать и возможно. С тех пор и не пью, только по праздникам, и не жалею ни грамм и вам не советую. Теперь, Зойка соврать не даст, я весь на курочках своих помешанный, и никого мне не надобно. Вот выведу орловцев настоящих — тогда гульнем напоследок, а после и помирать не жалко!

Вовочка от чая как-то осоловел, раскраснелся, растекся по креслу и замолчал ненадолго, но сидеть спокойно он не умел.

— Ну-ка, девки, марш спать,— цыкнул он на Рафиных девчонок.— Пора, пора, засиделись тут.— Вовочка подхватил их под мышки и поволок в детскую.

Уложив их спать, он принялся собираться. Перевязал свои коробки по-новой, погнал Галю мыть посуду на кухню и, отсадив больную птицу в отдельный ящик, объяснил Рафе, что следует с ней делать.

— Ты слушай, не в службу, а в дружбу, помоги мне чуток. Только здесь без сантиментов надо. Отвези-ка эту несчастную к Москалеву в Подольск. Я бы задержался, но, во-первых, мне послезавтра на завод, а, во-вторых, боюсь, задую его как кот куренка, когда увижу. Так люди не поступают. Курочку передашь, а на словах скажи, что, видно, ошибка вышла, обознался он в темноте. Будет пятьдесят рублей возвращать — не бери — деньги ничего здесь не стоят. Скажи — это его печаль, я же не последний раз наезжаю. Да ты не бойся, разбираться я с ним не стану, и куриц травить рука не поднимется — видел бы ты, какие у него красавцы... эх, жалко только, дерьмовому человечку достались. А своих орловцев я разведу, можешь быть спокоен, еще налюбуйешься на них — сам Москалев покупать приедет, да только хрен я ему продам, гниде. Ну, сделаешь?

И он так поглядел на Рафу, что тот согласился. Куда ж ему было деваться.

Затем укладывались спать, а Вовочка пропал в ванной — мылся.

— Детей у него нет, ты заметил, как он с нашими девочками ласково? — сказала Галя.

Рафа кивнул и зачем-то погладил жену по голове.

— Спи давай, — шепнула Галя и добавила уже в полудреме: — Находят же люди себе дело в жизни.

На той мысли и заснули.

Утром Вовочка встал ни свет ни заря, тихонько на цыпочках прокрался на кухню и сидел там, попивая чай, пока все не проснулись. Галя сразу бросилась было его кормить, но Вовочка отказался.

— Привычка — вторая натура. Я утром только чай, а вот к обеду, а всего скорее к вечеру — ого-го — тут я поросенка могу смолотить. Ну вы-то ешьте, на меня не смотрите, сказано — не буду, значит не буду.

Так и не стал.

После завтрака Рафа сходил за такси и было совсем собрался ехать провожать на вокзал, но Вовочка запретил.

— Ты лучше, пока воскресенье, съезди в Подольск, найди этого змея и курицу ему отдай. Сделаешь, а, Раф?

И он снова так взглянул, что отказаться было совершенно невозможно.

— Ну, прощайте, ребятки, спасибо за все, будете в Арзамасе — заходите непременно. Прямо с вокзала ко мне, я там Галине адрес на холодильнике оставил. Ну все, трогай, шефчик!

И он укатил, и девчонки долго махали ему вслед. А потом Рафа засобирился в Подольск.

Всю дорогу он предвкушал, как шмякнет картонку с курицей под ноги обманщику, как станет отказываться от денег, и так настроил себя, что звонил в квартиру сильно и настойчиво, и, только открылась дверь, шагнул внутрь, весьма угрожающе неся коробку перед собой.

Москалев, надо отметить, был мужичок хилватый, наглый и какой-то очень неопрятный.

В старых тренировочных штанах с обвисшими, полуистлевшими коленками, в ношеном вельветовом пиджачке тех еще, видать, времен, когда вельвет не почитался модным материалом, и с мутными выпученными глазами, он производил впечатление старого пройдохи, и то, как он явно испугался сперва решительного Рафы, неопровержимо свидетельствовало, что рыльце у него в пушку.

— Получите вашу курочку. Нехорошо все-таки, пятьдесят рублей дерете, а подсовываете дохлый товар. Вовочка просил передать, что когда он в другой раз приедет...

— Какой Вовочка? — перебил его пучеглазый Москалев и, взяв ящик, принялся его распаковывать. Курочка и впрямь была едва жива: закатывала глазки и мелко трясла лапкой.

— Так какой такой Вовочка? — накаляясь и как-то совсем по-хамски уперев руки в бока, начал Москалев, — это Толяныч Старгородский, что ли, что вчера у меня тут был?

— При чем тут Толяныч? — непонимающе начал было Рафа, но наглец его осадил.

— Из одной, значит, с ним шайки. Что-то я тебя на Птичке раньше не видел...

Москалев сделал угрожающий шаг в сторону Рафы... А дальше, дальше было уже очень некрасиво. Рафа не сумел да и не хотел разбираться — Толяныч ли, Вовочка ли подсунул Москалеву трех сдохших ночью кильзуммеров в обмен на орловцев, не очень-то он и уяснил разницу в ценах — с какой стороны шел четвертной, а с какой уступали пятерку — гвалт и мат стояли страшные.

В довершение комедии из боковой комнатки выплыли два здоровенных оболтуса-сына

и накинулись на несчастного Рафу и с позором выставили его за дверь. Но мало этого — как он ни отбивался, ему затолкали за пазуху трех дохлых куриц, весьма потрепанных и совсем не таких красивых, какими были они, вероятно, еще вчера утром...

В электричке Рафу обуяла тоска. Хотелось только хорошенько отмыться и ни о чем не думать. Произошла чудовищная ошибка, это было очевидно.

Дома он все рассказал Гале, и, когда та заревела, Рафа, не выносивший ничьих слез, в сердцах шлепнул дверь и заперся в ванной.

— Истинно — девки-бабы не народ,— зло процедил Рафа.

И тут он заметил знакомую бутылку с завинчивающейся пробкой, предназначенную для «народной дипломатии». Бутылка была задвинута за бельевую корзину. Рядом нашелся и пластмассовый стаканчик из-под зубных щеток. На доньшке оставалось грамм сто пятьдесят, и Рафа, поместив сперва стакан на полочку, долго разглядывал бутылку, качал головой и вдруг разом допил из горла и встал под горячий душ с теплой верой во все человечество.

— Нет, истинно, истинно: девки-бабы — не народ,— приговаривал он почему-то и мило улыбался.

КОМОЛЫЙ И МАТУШКА ЛЮБОВЬ

То, что женщина — сосуд дьявольский, у нас в Старгороде еще в пятнадцатом веке знали. Интересно: с двух сторон к нам эта история поступила, из независимых, так сказать, источников — из века нынешнего и из веков как бы минувших. Сперва пришлось слышать ее в парной бани № 2, что в Правобережье, от старика старовера, после — от ученого, в конце застойного царствия чудом побывавшего в Афонском Руссиконе, где, исследуя рукописные книги, по его стыдливому признанию, среди конволютов пятнадцатого столетья, переписанных, кстати, в старгородском Николо-Хитровском монастыре, затесалась и та шутейная побасенка.

Сравнивая после, вспоминаем, что особых расхождений в сюжетной линии двух рассказчиков не наблюдалось, только что «банная версия», пожалуй, пересыпана

была более смачными, но не всегда печатными эпитетами и метафорами, что доказывает, конечно, многое и важное, но мы, выбрав раз и навсегда линию свидетеля-летописца, лишь перепишем ее благоговейно, не пускаясь в глубинные философствования касательно скомошьей культуры, долгой жизни античной новеллы, вчерашнего в сегодняшнем и прочих и прочих сложнейших проблем, нашему уму не доступных.

Итак, во славном городе Константинополе жил один набожный протопоп. Был он известен своей чистотой, скромностью и смирением далеко даже за пределами своей общины. Столь же чиста и безвинна, богопослушна и жизнерадостна была и супруга его протопопица. И вот, случилось дело в канун Пасхи, на конец Великого Поста: обуял нашего протопопу бес похотливости, да так оседлал несчастного, что, образно выражаясь, рог соделал ему несокрушимый и превеликий. Бедняга и молился, и поклоны бил, и энколпион с чудодейственными мощами прикладывал, но не отпуская бес, «мучая зело». И стал тогда протопоп приставать к протопопихе, стал молить ее, просил дать ему то, «что полагается ему, да не положено».

Чистая, «аки голубица», протопопица, мужа своего любя, ответствовала ему скромно и просто, вся зардевшись, «аки маков цвет»: «Благодарный мой, перед Господом нашим Иисусом Христом, господин супруг и хозяин живота моего, я раба твоя всегда и сейчас, но не проси у меня невозможного — скоро уже окончатся твои муки. Потерпи, любезный, ибо как ты страдаешь — ничто по сравнению с крест-

ными муками Спасителя нашего. Вот уже воскреснет Царь Славы, свершится ежегодное таинство и счастье великое, и будем мы после представлены: ты — мне, я — тебе, сей же час думай о горнем, а о низменном — забудь, ибо Сатана только и рыщет рядом, думая, как залучить праведника, как совратить невинного».

Ушел от матушки протопоп, лия горячие слезы,— радуясь за чистоту жены своей и на свою слабость и немощь печалуюсь. Ушел в овин, жевал солому обмолоченную, но не отпустил бес. Крутил жернова ручные, тер зерно, но не согнулся рог страсти. И, не в силах терпеть более, пошел он в ясли и использовал ослицу, и козу, и еще раз ослицу — до счета три, и тогда только отлетел проклятый искуситель.

А после вошел протопоп в дом, одел ризы чистые, отправился в Собор и служил там службу, как положено. И свершилось Чудо — вокрес Спаситель, распятый за ны при Понтий-стем Пилате, и ликованию людскому не было предела. А после — уже как уходить всем, по окончании службы, пал протопоп на амвоне ниц, покаялся принародно в жестоких грехах своих, испросил прощения и за ослиху, и за козу, и за ослиху снова — до счета три, и даровано было ему прощение всенародное, и подходили христиане «лобызаху» его, и славили Христа троекратно.

А по тому времени страшное диво случилось: скопились-налетели над храмом злодейские птицы медноклювые гарпии — клювы да когти у них острее бритвы цирюльничьей, а вместо перьев — каленые стрелы. Летают

в поднебесье, гаркают страшно, пугают народ православный — не дают ему по домам разойтись.

Видя такое, протопопица подошла к мужу, подняла его с амвона, расцеловала трижды, взяла под руку да и повела к дверям. Вышли оне на церковный двор, а птицы все вопят, все кружат в поднебесье, все кружат да все ниже спускаются. И... враз накиннулись на протопопицу и растерзали ее в клочья, один только медный крест остался.

Но то — старина, дела прошлые. Мы же призваны писать о недавнем, да и, к чести сказать, сегодняшняя история, на наш взгляд, даст не меньше поучительных сюжетов, чем те же сомнительные побасенки, всякие Декамероны, антиклерикальные новелки какого-нибудь Фиренцуолы, помешавшегося на нечистом теле в связи с нажитой подчас французской болезнью. У нас в Старгороде какая уж эротика — тут все весомо, зримо, взять хотя б историю Комолого с матушкой Любовью.

Какого они там толку христиане, ей-богу, не знаем — то ли беспоповцы, то ли баптисты, то ли адвентисты, но не хлысты, так уж точно. Словом, те, что живут испокон веку на Правом берегу, за гостиницей «Родина», никому и никогда зла не делали. Всем только добро да помощь от них, а что они Библию собираются в своем доме читать да песни поют — кому в том беда? А все ж, наверное, староверы они — баптисты, те так не тянут — протяжно, сладостно-напевно, непонятно, аж за душу хватает — как священник на архиерейской службе пасхальной, когда чередя приходит Спасителя по-гречески прославлять. Попов вот у них точ-

но нет. Старики — те все четки носят на запястьях, и одежда у них такая длинная хламида, как кафтан с подолом до пят, а воротник стоячий. Поклоны бьют у них до того много, что каждый специальную подушечку носит — то ли чтоб лоб не расшибить, то ли чтоб колени не намозолить.

Не знаем, не знаем, право, сведения то больше черпаем мы от соседей, а те хоть и православные, конечно, христиане, да только акафист от аналоя не всегда отличают, где уж тут о конфессиональных различиях беседовать.

Как вечер — собирается община в свой домик. Сперва приходит Любовь Михайловна. Она почти всегда при своей церкви: чистит, моет, скребет, а как появляется Серафим Данилович — праведник ихний, — Любовнин муж, она ему низко кланяется, выходит, садится на скамеечку у окошка. Богомольцы сходятся. Подойдут, бывает, к ней, поговорят, называют ее ласково «матушка Любовь», не иначе, поговорят, раскланяются друг другу, и — одни в церковь, а матушка Любовь — на скамеечку. Под скамеечкой помост деревянный, на нем она и службу слушает — и зимой, и летом. Когда очень жарко, окно отворит — ей все слышно, когда — форточку, а иногда и заперто-затворено, но она стоит: поклоны отбивает и поет. У них там каждый с детства службу узнает раньше таблицы умноженья.

Большие тополя ее скрывают от взоров да забор — зимой только с пятиэтажки, когда не темно, можно ее и разглядеть — бьет поклоны, молится, с места своего не сходит.

Матушка Любовь росточку небольшого, но не согбенная, как у них там многие, да

и вообще не так и стара. Лет ей к шестидесяти, но и теперь видно, что красотой в молодости Бог ее не обидел, а уж глаза — большущие, глубокие-преглубокие, и огонь в них до странности не монашеский — веселый-превеселый. Колдовская, словом, старуха — раз увидишь — не забудешь. Но, надо сознаться, и муж ее не прост. Серафим Данилович, так тот высокий, немощно худой даже, с жидкой бороденкой, говорит срывающимся фальцетом, но глаза... глаза искупают неказистость тела: в них огонь плавлёного металла, в них — сила, вера, убеждение пророческое воистину, и не то чтоб за счастье считаешь с такими глазами столкнуться в толпе, но незабываемые глаза; за ними силища, что кремень трет в песочек, за ними та умственная работа, что точит ум беспрестанно, и кабы не пальцы, что силою внутренней побуждаемы вечно перебирать поистертые старинные янтарные четки, всегда снующие, как челнок у ткацкого стана, то вся б фигура его смиренной и бес-телесной почти казалась. Тоже колдовской старик, так по крайней мере старухи-пенсионерки судачат, что у пятиэтажек вечно семечки лущают на скамеечке да всей округе косточки перемывают по триста шестьдесят пять дней в году, не считая високосных, конечно.

Лет Серафиму Даниловичу за восемьдесят, и всегда он тут жил в слободе Правобережной около Копаньки, недалеко от ихнего кладбища с деревянными, как крышей крытыми, крестами и часовенкой из заозерного красного ракушечника. Всегда жил здесь, и родители его тут жили, и деды. Отлучался только на войну. И из нашего истинно христианского народа только

Терентьева Анастасия Петровна его мальчишечкой помнит — в школу с ним ходила. До войны, до той войны, конечно.

— Всегда он такой болезненный бывал, — вспоминает бабка Настя, — девкам проку от него никакого не было, хоть и не порешил себя еще тогда. А и тогда, видать, Комолый был.

Пойди, правда, разберись, где истина. Знаем только, что как пришел с войны, отдали за него матушку Любовь — тогда еще совсем юную девчоночку — пятнадцать ей вряд ли и стукнуло.

— Оторви да брось стрекозенька была. Глазищи не что теперь — озорнющие, хохотушня. Но пошла под венец безропотно — отец приказал. А у них ведь строго, не то что у нас, окаянных, теперь, — рассказывала нам бабка Настя.

— Ну вот, пожили они так годочков с пять — детьми не обзавели, но жили мирно-тихо, в церковь ходили, а днем Серафим Данилович в первой бане за мостом парикмахером служил. Хороший был мастер, мужики его уважали: к нему, бывало, очередь стояла — без боли, без пореза брил и на компрессы не скупился — мастер, словом, своего дела.

И все б ничего, но годы были, сам знаешь, какие. И у нас поналетели амнистированные ли, заезжие ли, черт их не ведает, блатари да уголовники — жизнь дешевле копейки по ночам стоила после войны. И вот, поселились раз у Матрены Тимофеевой, была тут разводка такая, два бандита. Поговаривали, что в бегах, ну а кто точно знал — отмалчивались. Жили мирно, Матрена им водку таскала, требуху да ливер с колбасного цеха — она там работала,

а уж кого ночью ублажала — неведомо: старого или молодого. Одному-то лет под сорок — мы его старым кликали, а другой — молоко на губах не обсохло, но гнилой: злющие глазенки лисьи, усики ниточкой, брючки стильные и, как струна натянутая, жилистый — чистый аспид. Старый вечерами выносил табуретку, садился на нее, крутил самокрутку: сидел, курил, смотрел на улицу, а младшенький тут, на подхвате, рядышком. То с пацанами в очко играет, то ножиком кого припугнет, так, для авторитету, старший же сидел тихо — не вмешивался, глядел себе молча, а к ночи в дом уходил.

И вот, как на зло, угнали Серафима Данилыча на покосы, в Поозерье на острова, матушка-то его одна и осталась. Да какая она матушка, это теперь она матушка, как и он у них — праведник да почти святой, а тогда была девчонка, только мужняя. А муж-то, видно, не очень ее баловал. Или что там у них — они же строгой жизни.

Ну и заскучала наша Любушка, но на посиделки ни-ни, к вечеру свет отключает и в церковь свою, а после — спать. А с петухами — уже по хозяйству: корову доит, выгоняет пастуху за околицу — крутится, словом, как белочка.

Вот шла она как-то по нашей улице одна вечером с молебна, ребятня ее обступила и давай приставать: за косы дергать там, обзывать-зазывать, она как маковый цветок загорелась и было бежать, а молодой-то уркаган ей дорогу и перегородил. Финку наставил и давай ее при всех-то лапать — бедняжка и онемела, не двинуться ей, он, гад, аж в подбородок своим засапожником колет. Начал уже ее

к баньке теснить, и быть бы беде, как вдруг старый с табуретки поднялся, рукой так в воздухе повел да пальцем щелкнул — молодой сразу все забыл, голубицу нашу бросил — и к пахану.

— Стой на коленях!

Тот как сноп перед ним и повалился. Старый медленно так, со значением, потянул руку за табуреткой да как хряснет молодого по черепушке — табуретка на кусочки, молодой мордой в пыль. Очухался, кровь рукой размазал по глазам, а старый ему на обломки указал: «Завтра чтоб целая тут стояла!» — и было домой собрался к Матрене, но задержался, на Любашу поглядел так ласково, а она, как и все пацаны, — ни жива ни мертва, ступить не смеет. «Тебя как зовут-то, глазастенькая?» Девка как от искры вспыхнула вдруг: «Любовию».

— Ну-ну,— старый только головой мотнул.— Иди, что испугалась? А этому козлу — урок будет,— и глазом по фигурке ее стрельнул и пошел домой. И она понеслась — не чаяла небось такого избавленья.

С того дня стали замечать, что Любашка все мимо Матрениного дома норовит пройти — за водой стала к Копаньке ходить, хотя всегда раньше в другой конец к Космодемьянской ходила. Словом, покорила ее, видать, старый. Задел там что-то, зацепил девичье. Ну а потом уж и сплетни пошли, что ходит он к ней ночами. Шепоток шепотком, а проверить никому охоты не было, старый, говорили, и наган при себе таскал — кому хочется с жизнью расстаться.

Так они недели полторы всего и побалова-

лись — Любушка расцвела, что мой сиренев куст: и походка у ней сменилась, то все бегала по-девичьи, а тут плавать стала, что пава, и глаза, глаза — не проведешь, такая в них бесинка счастливая зажглась... Но конец всему приходит. Приехал Серафим Данилович, да на несчастье свое не вовремя, ночью — все-то уж спали в слободе. Зашел, а они там — застучал как есть. Но что он такое супротив пахана лагерного? Как уж тот, не знаю, а скрутил мужика, а ее, голубушку, затолкал в чулан и наказал молчать. И отчего, почему ему в голову вступило, ну да они же люди бессердечные — зэки эти, только девчонка по глупости да по молодости ему поверила, короче, стоял в их доме в углу сундук старинный, окованный, в нем все девичье приданое: бусы там, монисты, деньги тоже небось были. Вот он сундук опорожнил, набил себе торбу, а Серафима Даниловича-то, лишив панталон, прямо к сундуку, за подвески-то мужские, ирод бессердечный, и приковал. Защемил, ключом запер, а ключ в окошко выкинул, а на крышку-то сундука положил любимую Серафимову трофейную бритву. Положил и был таков — больше его с молодым и не видели. Обокрал, значит, приковал и дал деру.

Серафим Данилович, сказывают, от боли дара речи лишился: помыкивает, но ни крикнуть, ни сказать человеческим языком — железом каленым отдается, а Любаша в чулане заперта — ждет-боится-гадает-молится — всех святых поминает. Но долго так не выдержать — видно, защемило ему худо, набухать пошло. Схватил мужик бритву — да ать себя, и освободил на всю остатнюю жизнь. Тогда

и завопил. И она в чулане заголосила — почувяла нехорошее. Народ сбежался — как-то бабки кровь заговорили, выходили его. А как Любушку из чулана освободили, так ведь сперва закричала, не разобравшись: «Не бейте моего Николая (так, стало быть, пахана звали), я, я во всем виновата!» Ну уж а как увидала да поняла, брякнулась в обморок, и с год, почитай, слова никто от нее не слышал. Потом постепенненько разговорилась.

Отец матушкин тогда приходил к Серафиму Даниловичу, просил прогнать девку, но тот не дал. Не прогнал, оставил при себе в служках, но на людях с ней не говорит почти, все больше жестами, а как там дома — нам неведомо. Наказал только на пятьдесят лет отлучением от церкви. А там ведь две тысячи первый год — а у них на тот год Страшный суд напророчен.

Сам то ведь вряд ли доживет — последнее время болеть стал, но никого в дом не допускает — она за ним и ходит.

Так и живут.

Он с той поры больше бритвы в руки не брал — община их целиком содержит, а он у них как чуть ли не святой почитается, из других городов к нему ездят — грехи небось им отпускает и руками, сказывают, раков изгоняет. А она, бедняжка, вся с той поры в черном, как монашечка. И все стоит на коленях у окошка, вымаливает себе прощенье. Вот бы отпустил ее с Богом, матушку-то Любовь, какая ему с нее польза, никак их не понять.

И правда, свидетельствуем вам, сами мы из Настиного окошка наблюдали — дождик как раз ноябрьский моросил, холодно, а она стоит

на коленях — фигурка черная, плащом только накинулась и стоит, и нет-нет да поклонится до земли, помост лбом припечатает.

Вот не знаем мы только, что у них за толк такой, ведь если Бог есть Любовь, то как такое объяснить?

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Критик Игумнов побывал в Америке. В самом Вашингтоне. И еще в Нью-Йорке.

Нью-йоркское метро его напугало.

— Тюрьма, настоящая тюрьма,— рассказывал он своим слушателям в Москве.— И негры. Знаете, я не расист, в отличие от большинства наших эмигрантов, но негры попадаютя страшные. Нищие, ленивые. Работать не желают — стоят на каждом углу, просят медяки, а там и на доллар ничего не купишь толкового.

Слушатели преданно вздыхали. Игумнов вздыхал ответно.

— Нет, вы не поверите: Манхеттен — это город... Желтого Дьявола! Мне, право, стыдно так говорить, почти по-газетному получается, но там много, очень много проблем, что нам и не снились: всё в кредит, вплоть до микроволновой печки,— средний американец опутан с головы до ног.

— А как там насчет колбасы? — этот вопрос почему-то задавали обязательно, хотя ведь знали же, гады, ответ, знали прекрасно.

— Нет, не в колбасе дело, поверьте, не колбасой же единой жив человек, — еще тягостнее вздыхал Игумнов, — объяснить вам это невозможно. Это надо видеть и чувствовать. Магазины «Сирса», например, не открывают, если на прилавках нету тридцати тысяч наименований продуктового товара. И что?

— И что? — замороженно вторили слушатели.

— Клянусь вам, ребята, это сложно выразить объемно, но... жить там душно — души там нету. Все в целлофане, все стандартно. Просто ужас.

Слушатели радостно кивали. Улыбались потаенной улыбкой. Гордо потирали руки.

Короткой фразой Игумнов кончал рассказ:

— Нет там, пожалуй, одного — четвертого измерения, что ли.

И все принимались шумно пить водку и славить молодчину Игумнова. Правда, находились изредка и такие, что открыто заявляли с нескрываемой грустью: «Дурак ты, Игумнов», но таких мало слушали, а Игумнов сокрушенно качал головой — что ж поделаешь, своей головы другим не одолжишь. Но в споры не пускался — пресекал на корню.

Так повторялось с месяц. Игумнов устал. В Москве его больше ничего не держало — обещанную американскому журналу статью «Европа или Азия? (Похвальное слово евразийцам)» он написал живо, по свежим впечатлениям, и отправил телефаксом. Пить водку под американские разговоры надоело. Мюн-

хенская полугодовая стипендия находилась в стадии оформления. Теледебаты со съезда утомляли несказанно. Новые славянофилы были омерзительны.

— Конечно, все мы сегодня почвенники, даже я со своим вселенским охватом,— жаловался он своему ближайшему другу,— но пойми, когда они меня тянули, как деревенского мальчишку, в конце шестидесятых... тогда же время было другое — все вместе против, а теперь... Нет, середина, золотая середина — древние правильно говорили.

Игумнов старался отклонять предложения, в партии не вступал, придерживался неортодоксальных журналов, где иногда печатали его эссе, и лихо, при случае, критиковал в кулуарах своих же кормильцев. Но чувствовал, чувствовал, что его неумолимо толкает влево.

— Пойми, не в «Апрель» же идти — «Апрель» себя исчерпал, едва зародившись,— плакался он все тому же другу.

Вся эта «домашняя» толчея утомляла несказанно. Хотелось отдохнуть, тянуло на родину, в деревню, под Старгород, где на месте материнской развалюхи он четыре года назад поставил наконец добротный пятистенок. Господи, как же снились ему Озеро, деревня там — в Америке!

Компьютер, что привез на заработанные деньги, еще не продан, зато за видеомагнитофон заплатили семь тысяч. Он прикупил по случаю новую резину к своему «Запорожцу», положил в багажник набор отличнейших спиннингов и блесен, подаренных американским коллегой, поцеловал жену и дочек и взял курс на Старгород.

Перед отъездом он позвонил Пионтковскому и упросил его подождать. Пионтковский на днях получал через Литфонд «девятку» и собирался расставаться со своей почти новой «Нивой». Игумнов вызвался купить за большую цену — компьютерных денег должно было хватить с большим, большим избытком.

Жена собирала его, как всегда, основательно: положила ящик тушенки, четыре палки вареной колбасы, баночки растворимого кофе и югославской ветчины и пачек двадцать тридцать шестого чая. Продукты ехали в деревню — там их ждали от Игумнова.

Родни в деревне уже не осталось, да и из одноклассников, пожалуй, тоже никого — все поразбежались по заведенной формуле после армии куда угодно, только не домой, но не одарить соседей — такого с Игумновым не случилось. Да его б и не поняли, приедь он без продуктов, виду, конечно, не показали бы, а не поняли.

«Запорожец» с трудом одолел пятнадцать километров проселочной дороги — хорошо, май был сухой — и Игумнова приняла родная деревня. Сгрузили продукт, ящик прикупленной на выезде из Москвы водки. Обнялись.

Кругом — раннее-раннее лето. Начало июня. Листва. Бесконечное Озеро. Уха на костре. Водочка. Тары-бары. Душа отходила, отдыхала, промывалась кислородом.

Тут не страшны были и американские разговоры. Наоборот — не рассказать было невозможно. Их ждали. Им гордились и, рассматривая на левом запястье водонепроницаемую «Сейку», не скрывали восхищения, и, конечно

же, подкалывали, посмеивались и... засыпали вопросами.

Слушали так же внимательно, что и московские друзья-приятели. Маскируя любопытство российским панибратством, подливали усердно игумновскую водку. Качали головами.

— А как там с колбасой?

О! Этот ожидаемый вопрос! Игумнов почти рыдал — ему сочувственно внимали.

— Дак оно и понятно — чужбина,— как само собой разумеющееся откомментировал тракторист Абросимов игумновское «четвертое измерение» и почему-то переспросил: «Так, значит, там, говоришь, члены заводные запросто продаются?»

Все застолье дружно загоготало. Американская тема была исчерпана.

Через неделю, когда были подъедены все московские запасы и Игумнов бодро перешел на картошку и уху, его стала терзать неистребимая тоска. Деревенские, делая вид, что работают, с утра растекались по нарядам, съезжались лишь к позднему обеду, после которого начинались поиски водки или скромные домашние хлопоты. Игумнов все больше оставался один. Пить старгородскую водку ему было тягостно, да и прискучило. Щучья уха приелась. И вообще знакомое московское неудовлетворение накатывало, оказывается, и здесь. И держало крепко.

Невольно он начал думать. Убеждать себя, что не в колбасе дело. А в чем? Легко было говорить про «четвертое измерение», но как его измерить? Да и надо ли?

Ведь вот, к примеру, родная литература наша — где тут критерий качества? Традици-

онность? А что есть традиция? Сплошное западное влияние, особенно начиная с Петра Великого. Но ведь и до Петра... Софья Палеолог лезла в голову и даже однажды приснилась во сне. Все это начинало принимать размеры настоящей мании.

В отосланной в Америку статье все выходило лихо, вытекало из географии нашей, помноженной на историю. Но теперь его это не устраивало. Что-то вкралось в сознание таинственное. Голос крови? Гены? Прапрапамять? Вопрос мучал, американская статья казалась безнадежной. Да еще зарядил дождик — мелкий, но безысходный.

Игумнов заторопился в Москву.

Соседи принесли немножко меду для дочек, накопили рыбы. Просили не забывать. Приезжать скорее. И обязательно привозить колбасы. Без жира. По два девяносто.

А Колька Жогин, большой любитель поблеснить, заказал в Мюнхене осенние блесны и японскую леску.

Игумнов дал газ.

Почти у самого выезда на асфальт, километрах в трех от шоссе, «Запорожец» безнадежно увяз в грязи. Не помогли ни подкоп, ни березовые ветки под колеса. Намаявшись, перепачкавшись до ушей, Игумнов успокоился. Часа через три должен был пройти коммунаровский «Кировец» — молоковоз с фермы, оставалось только одно — ждать.

Он раскинул сиденье, отвалился и вздремнул. Перед сном Игумнов подумал, что «Нива» будет здесь проходить легко, и порадовался этому.

Во сне ему снилась большая полка супермар-

кета, заставленная пластмассовыми лимончиками, в которые был налит натуральный лимонный сок для нужд готовки.

Очнулся Игумнов от гуденья «Кировца».

Большой желтый трактор без труда вытянул «Запорожец» на асфальт. Тракторист был слегка пьяный, незнакомый — морщинистый мужичонка из соседней деревни. Водки, чтоб расплатиться, не было, Игумнов посулил сквитаться в другой приезд.

— Ладно, Америка,— махнул рукой на прощанье тракторист,— гляжу, ты меня не узнаешь, зазнался, что ли? Я ж Пашка Боков, мы с тобой в одном классе сидели.

Игумнов про себя ахнул и поспешил завести ни к чему не обязывающую беседу. Полчаса проговорили.

— Ладно, Америка, езжай с Богом, надо ведь и молоко везти,— бывший одноклассник залез в кабину.

Уже оттуда, перекрывая урчанье «Кировца», донеслось излишне веселое, со смешком: «Не забудь, значит, в другой раз колбаски на мою долю прихватить!»

В Москву Игумнов приехал мрачнее тучи. Друзей некоторое время избегал, но долго прятаться было не в его характере. Все по-неслось по-прежнему. С каким-то даже лихим ускорением.

В Мюнхен он тем не менее собирался, сменил только тему на поэтику гоголевского «Миргорода», коей больше всего и занимался до увлечения евразийством. Купил у Пинотковского «Ниву» и продал свой «Запорожец» в Южном порту за хорошую цену. Стал, на удивленье друзьям, увлекаться видео.

В свободное вечернее время заглядывал к соседу, смотрел с ним полицейские детективы и фантастику.

Когда коллеги заводили споры об Америке, он резко обрывал их некорректным вопросом:

— А вы не слышали, говорят, одному совместному предприятию в Саратове дозволили выпускать заводные полиуритановые члены?

Коллеги радостно переглядывались и, отбросив болезненную тему, немедленно переводили разговоры на баб.

1989—1991

СОДЕРЖАНИЕ

Над схваткой	3
Двадцать лет	7
Сметана	11
Живой колодец пустыни	14
Неумолимая логика	20
Отец и дочь (<i>современная сказка</i>)	31
Блаженства	36
Машенька	45
По кайфу	51
Умная Эльза	61
Старгородская вендетта	73
Две шапки	85
Чудо и явление	92
Счастье	100
Эне, мене, мнай	111
Старшина	116
Герой	120
Чертова невеста	125
Петрушка	131
Чувство юмора	133
Лушкина горка	148
Жадность	157
Победа	163
Леди Макбет	170
Крепость	173
Метаморфозы, или Искусство мгновенных превращений	182
Владик Кузнецов	190
Настоящая жизнь	214
Комольи и матушка Любовь	235
Четвертое измерение	247

П. М. Алешковский

А497 Старгород. Голоса из хора.— Изд-во
им. Сабашниковых.— М.: 1995. с. 256
ISBN 5-8242-0028-IX

«Старгород» — цикл рассказов о российской
послеперестроечной глубинке, где герои самобытны,
а трагикомические ситуации достоверны при всей
фантастичности. Автор «Старгорода» Петр Але-
шковский представляет новое поколение русской
литературы, прочно связанное с классической тра-
дицией.

А 4702010201-04 Без объявл.
Б94(03)-95

ББК 84.Р7

Алешковский Петр Маркович

СТАРГОРОД

Голоса из хора

Оформление художника *С. Семёнова*

Редактор *В. Сагалова*

Художественный редактор *Е. Воронцова*

Технические редакторы *И. Дергунова,*

З. Теплякова

Корректор *Б. Тумян*

Сдано в набор 01.02.94. Подписано в печать
28.03.95. Формат 70х90^{1/32}. Бумага офсетная. Печать
офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л.
10,4. Уч.-изд. л. 9,68. Тираж 15000. (1-й завод —
3000 экз.). Заказ 2854.

Издательство имени Сабашниковых
119146, Москва, 2-я Фрунзенская, 7

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»
103473 Москва, Краснопролетарская, 16

Отпечатано во 2-ой типографии издательства
«Наука» 121099 Москва, Шубинский пер., 10